

З
А
Р
У
Б
Е
Ж
Н
А
Я
Ф
А
Н
Т
А
С
Т
И
К
А



**ФАНТАЗИИ
ФРИДЬЕША
КАРИНТИ**



ИЗДАТЕЛЬСТВО


«М И Р»



FRIGYES KARINTHY

UTAZÁS FAREMIDÓBA
KAPILLARIA

Budapest



**ФАНТАЗИИ
ФРИДЬЕША КАРИНТИ**

*Перевод с венгерского
и предисловие
АЛ. ГЕРШКОВИЧА*

**ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВИР»
Москва, 1969**



РЕДАКТОР И. ХИДЕКЕЛЬ

*Редакция научно-фантастической
и научно-популярной литературы*

Инд. 7-3-4
191—69

Смеется ли Фридьеш Каринти?

1

В новелле Фр. Каринти «Цирк», затерявшейся среди коротких юморесок, по содержательности способных поспорить с иным пухлым романом, рассказана такая притча.

...Маленький скрипач мечтает удивить мир сочиненным концертом. Но никто не желает слушать серьезной музыки, все смеются над незадачливым музыкантом и бегут в цирк смотреть чревовещателей. Тогда скрипач обращается к владельцу цирка с просьбой дать ему выступить на манеже. Тот соглашается с условием, что концерт будет сыгран под куполом цирка. У нашего героя столь велико желание поделиться с людьми своей музыкой, что он становится коверным на манеже. В один прекрасный вечер он делает головокружительное сальто-мортале и, стоя одной ногой на проволоке, наконец заставляет людей прослушать серьезную музыку.

Современники Каринти и его биографы справедливо усматривали в этой новелле много сокровенного. В ней писатель как бы раскрывал тайный ларчик собственного творчества: всю жизнь мечтая о большом, общественно значимом искусстве, он вынужден был пробивать дорогу к сердцу, разуму и чувствам читателей посредством эксцентрических приемов, внешне забавной и неожиданной формы, через литературные парадоксы, пародии и шарады.

Фридьеш Каринти (1887—1938) — не только крупнейший представитель сатиры и фантастики в венгерской литературе, но и сам по себе целый мир, целое понятие в об-

щественной и культурной жизни Венгрии первых четырех десятилетий нашего столетия. Трудно представить себе панораму венгерской литературы без колоритной фигуры этого человека с квадратным черепом и большим сократовским лбом, со скептически опущенными уголками губ и задумчивыми, чуть печальными глазами.

Легенды и анекдоты о Каринти до сих пор составляют неотъемлемую часть городского фольклора Будапешта. Юмор бил из него ключом. К чему бы ни прикасался его острый и светлый талант, он повсюду оставлял неизгладимый след, вызывавший улыбку, смешанную с горечью. Крупнейший знаток творчества Фр. Каринти и личный его друг, ныне академик Ласло Кардош, рассказал мне малоизвестный анекдот, связанный с именем Каринти. Один начинающий журналист в Дебрецене захотел взять у приехавшего туда маститого писателя интервью о его впечатлениях о городе: «Так вот, молодой человек,— начал Каринти, сидя за чашкой кофе,— выхожу я с вокзала, вижу улицу. Слева — дома, справа — дома. Посредине — мостовая. Как умно поступили городские власти, что оставили место для пешеходов!»

Даже в этой непритязательной шутке сказался склад мышления Каринти с его саркастической издевкой над миром и доброй любовью к людям.

Многие меткие названия сборников Каринти и отдельные его выражения стали поистине крылатыми. Таковы названия сборников, снискавших ему славу блестящего литературного пародиста и сатирика: «Так пишете вы» (1909), «Поговорим о другом» (1915), «Извините, господин учитель...» (1916), «Юмору не до шуток», «Не могу сказать никому, потому рассказываю всем» (1930), «Путешествие вокруг собственного черепа» (1937) и др. Именно ему венгерский язык обязан словом «халанджа», что означает «абракадабра»; подобно Маяковскому, Каринти

не раз обращался к рекламе. Он сочинил под рисунком плачущей коровы и улыбающегося судака текст: «Скажи, корова, зачем грустишь?» («Рыба дешевле мяса»), и пустил гулять по свету слова: «Женщин интересует только одна этика — косметика». Издателю, который долго водил его за нос, уклоняясь от выплаты гонорара, он оставил записку: «Никогда не был завистником, но сейчас завидую тем, кто с вами незнаком. Без уважения Фридьеш Каринти».

Его знали в Будапеште как заядлого шутника, и люди на улице при встрече с ним невольно улыбались. Его друзьями был весь Будапешт, а не только завсегдагаи кафе, где он писал многие свои новеллы. Кондукторы трамваев, шоферы такси и автобусов, продавцы газет и дворники считали его своим человеком и ждали его шутки, доброй остроты, каламбура.

И Каринти не обманывал их надежд. Смертельно больной, он смеялся даже над собственной кончиной и, оставаясь верен себе, сочинил шутливый отчет о своих похоронах. В нем, между прочим, писалось: «Гроб с моим телом прибыл на черном самолете. Несколько кругов над праздничной толпой... Начинается гражданская панихида. Мои смертельные друзья и наимилейшие враги сменяют друг друга на кафедре: последние становятся первыми благодаря той любезности, которую я им оказал, предоставив возможность выступить на моей панихиде. Медоточивые речи: «Зачем он ушел от нас?» и т. д. Я отвечаю тому, кто задается этим вопросом: «Готов поменяться с вами местами! Кто-то ведь должен начать! (Общее оживление.) Критиков попрошу мое тело не вскрывать...»

Кто же был на самом деле этот сильный духом человек — шут или мудрец?

Путь Фридьеша Каринти в венгерской и мировой литературе (его произведения переведены на все европейские языки) поучителен во многих отношениях, но прежде всего он интересен как путь буржуазного гуманиста начала столетия, прошедшего через войну, техническую революцию, социальные потрясения XX века, фашизм. Как трансформировался в душе этого незаурядного человека наш напряженный, полный противоречий и общественных катаклизмов век? Какова логика его жизни и творчества?

Речь пойдет о буржуазном интеллигенте XX века, который жил и творил на периферии Европы, в полупомещичьей, полукапиталистической стране, о европейце до мозга костей, который был полностью в курсе общественных событий и новейших научных открытий и вместе с тем чувствовал себя в достаточной мере свободным от европейского эгоцентризма. Наблюдая и изучая жизнь империалистической Европы, дыша с нею одним воздухом, он в то же время имел возможность взглянуть на нее как бы чуть-чуть со стороны, в несколько смещенном ракурсе венгерского интеллигента, в ком еще были живы наивные представления о либеральности и просветительском гуманизме.

Так, иногородец, наезжающий в столицу, подчас замечает многое из того, мимо чего коренные жители спокойно проходят. Свыклись!

Не этим ли помимо всего прочего объясняется то обстоятельство, что вопиющие противоречия буржуазной цивилизации и буржуазного сознания в XX веке с наибольшей остротой обнаружили художники, родившиеся на периферии Европы,— Кафка, Чапек, Ионеско? К их числу принадлежит и Каринти, с той лишь оговоркой, что он начал свой путь в литературе несколько раньше и не имел

непосредственных предшественников, если не считать... великого Ж.-Ж. Руссо.

Каринти родился и вырос в семье среднего будапештского служащего, который свободное время посвящал занятиям философией и искусством, еженедельно собирал в своем доме пеструю компанию «интеллектуалов», бесконечно споривших о литературе, политике, новейших философских теориях. Многочисленных друзей дома объединяла приверженность к идеям французского просветительства, к философии рационализма, с позиций которого они пытались судить о современности. В этой интеллектуальной атмосфере с детских лет вращались и шестеро детей Каринти, среди которых Фридьеш был окружен особым вниманием — он был младшим и к тому же единственным мальчиком в семье.

Любовь к книгам, путешествиям и открытиям, интерес к биографиям великих ученых и изобретателей характеризовали рано обнаружившиеся литературные склонности будущего писателя. К впечатлениям детства, наложившим отпечаток на все его творчество, относилось и бурное развитие Будапешта, который на рубеже XIX—XX вв. быстро превращался в крупный капиталистический город. Собственно говоря, венгерская столица в том виде, в каком она существует сейчас, — со старой подземкой (кстати, первой на континенте), с кварталами многоэтажных домов и тесными улицами, с импозантным зданием парламента на берегу Дуная и красавцами-мостами — была построена в те времена, когда Каринти ходил в реальную гимназию.

Каринти всю жизнь вращался в средней городской среде. В классе, где он учился и с которого впоследствии нарисовал классическую картину гимназического детства (повесть «Извините, господин учитель»), были три фабрикантских сына, девять детей ремесленников, один сын

крупного торговца, двадцать сыновей мелких торговых служащих, семь детей чиновников.

Любимым произведением Каринти была «Трагедия человека» И. Мадача и научная фантастика Жюль Верна. Интерес к техническим открытиям, к естественнонаучной революции, открывшей перед человечеством необозримые перспективы, сопровождал Каринти всю жизнь. Еще гимназистом он написал фантастический роман «Путешествие на Меркурий», в предисловии к которому с удивительной для своих лет серьезностью выразил «творческое кредо»: «Я не стремлюсь показать, как долететь до Меркурия, я просто показываю, что в мыслях это вполне возможно. Мысль — лучший воздушный корабль, за несколько мгновений мы можем очутиться там, где захотим, и в сотнях вариантов представить свое путешествие».

Характерно, что фантазия Каринти устремляется не в экзотический мир кругосветных путешествий, столь привлекательных для подростка, а в совсем не исследованное по тем временам космическое пространство и в океанские глубины. Героев своего второго юношеского романа «Свадебное путешествие через центр Земли» он с легкой душой отправляет на дно океана. В этом романе впервые проявляется отличительная черта Каринти-фантаста — его своеобразная ироническая интонация, стилизованный пародийный язык, который помогает с сочувственной улыбкой следить за полусерьезными, полуутопическими рассуждениями и приключениями героев.

В 1905 году Каринти держит экзамен на аттестат зрелости, причем без особого успеха: по истории и литературе он получает оценку «посредственно», по естественным и точным наукам — на балл выше. Он записывается на физико-математический факультет Будапештского университета, а посещает лекции по хирургии; когда же приходит в библиотеку, то читает книги по философии. Подобная не-

последовательность и распыленность интересов молодого студента не привела к добру на экзаменационной сессии, зато помогла Каринти обрести свой, особый взгляд на мир, столь важный для художника. Он осознал, что технические открытия и научные достижения могут представлять интерес не только сами по себе, но и в их отношениях к человеку, в их взаимовлияниях на судьбу цивилизации. Настоятельный интерес к человеку, к его внутреннему миру привел Каринти в журналистику, а через нее — в литературу.

3

С 1906 года в различных будапештских газетах и журналах все чаще стали появляться статьи, небольшие очерки и юморески — излюбленный жанр венгерской периодики начала века, — подписанные именем Фридьеша Каринти. Будни Пешта, образ жизни его обывателей служили главным объектом развивающейся урбанистической литературы. Она была представлена в Венгрии именами одного с Каринти круга писателей: Ференца Мольнара — впоследствии всемирно известного комедиографа, Ене Хелтаи, Милана Фюшта и др. Фридьеш Каринти отличался от них особой манерой письма, родственной свифтовской сатире.

Все свои ранние произведения, в том числе и принесший ему широкую известность сборник литературных пародий «Так пишете вы», где он дал поразительную энциклопедию писательских стилей от Ч. Диккенса до Л. Пиранделло, Каринти, подобно большинству венгерских литераторов его круга, создавал в оживленной атмосфере будапештских кафе. «Литература кафе» только входила тогда в моду и была своеобразным порождением городской жизни, такой же неотъемлемой чертой будапештского быта, как парижский Монпарнас или лондонская Пиккадилли.

С самого утра, как на работу, вооруженный тяжелой тростью и вечным пером, приходил Каринти в кафе «Нью-Йорк» (ныне — «Хунгария», в центре современного Будапешта), просматривал газеты, писал, ел (чаще всего в кредит, который был постоянно открыт для писателей меценатствующим хозяином), спорил с друзьями, играл в карты, острил, снова писал... Это был его дом, его мастерская, его жизнь. В кафе он познакомился с актрисой театра «Талия» Этель Юдик, и здесь же, в кафе, произошло его шумное объяснение с ее мужем, закончившееся тем, что влюбленные бежали в Берлин. Это было самое счастливое, безмятежное время его жизни.

Накануне первой мировой войны Каринти — уже известный писатель и критик — достигает зенита славы и благополучия. Его юмористические рассказы охотно печатают все отечественные журналы; многочисленные будапештские кабаре, в которых ставились сатирические ревю и политические обозрения, конкурируют между собой за право включить в свою программу произведения популярного писателя. Прогрессивный журнал «Нюгат» регулярно публикует его критические заметки, в которых Каринти ведет остроумную борьбу против консервативного «академического» искусства и поддерживает современные, авангардные течения в венгерской антибуржуазной литературе. Он ополчается против тех эпигонов Петефи, что подражали лишь внешней форме его стихов, и выступает за толкование традиции так, как понимал ее сам великий венгерский поэт-революционер, признававший одну традицию — быть новатором.

Самоуспокоенность вообще была чужда Каринти. Достигнув относительного материального благополучия, он продолжал пытливо и критически присматриваться к окружающей жизни, с восторгом и тревогой думал о технических достижениях века. Он заводит знакомство с людьми

редких профессий, не имеющими никакого отношения к литературе. Особенно тесная дружба связывает его с первым венгерским авиатором инженером Виктором Виттманом. Вместе с Виттманом он совершает первый в истории венгерского воздухоплавания полет на аэроплане над Будапештом. «Пятый океан необыкновенно будоражит фантазию писателя, дает ему незаменимые впечатления, в полетах человека над землей Каринти видит безграничные перспективы развития не только техники, но и человеческого сознания. Вместе с тем он понимал, что с развитием науки и техники меняется представление человека о самом себе, и эта психологическая сторона технической революции представлялась писателю не менее важной, чем утилитарная.

Каринти оставил десятки репортажей и повелл, навеянных его первыми полетами на примитивном, сконструированном из фанеры и брезента аэроплане. И когда 11 мая 1915 года аэроплан Виттмана, достигнув рекордной высоты в тысячу метров, разбился, похоронив под собой бесстрашного пилота, Каринти, который за два дня до этого поднимался с ним в воздух и строил планы перелета через Атлантику, в некрологе писал: «Виттман улетел навсегда... Виттман, мой милый Виттман, ведь правда, мы поднялись в воздух не потому, что не боялись смерти? Мы очень хотели жить и верили, что можем победить страх. Говорят, герои не боятся смерти. Если презрения к смерти достаточно, чтобы стать героем, то ты, Виттман, и меньше и больше чем герой, ибо ты рисковал жизнью во имя ее самой... Кто подлинный герой: тот, кто рискует жизнью во имя созидания, или тот, кто жертвует ею во имя разрушений?»

Гибель первого венгерского пилота и близкого друга была огромным, на всю жизнь потрясением для Каринти. С тех пор его не оставляет в покое философская проблема

влияния развивающейся техники на судьбу человеческого общества. «С точки зрения жизни в отношениях между машиной и человеком, в борьбе человека и машины,— писал он в 1931 году,— содержится более напряженная, глубокая и потрясающая трагедия, чем в борьбе живого с живым или в борении человека с самим собой.. Мотор гудит, выбрасывает пламя, колесики вертятся все по кругу, по кругу, а человек сидит и управляет механизмами. Одно его неосторожное движение, малейшая неисправность в механизме, и оба — человек и машина — превратятся в ничто. Кто из них надежнее, более стоек — живой организм или мертвый металл,— вот в чем вопрос. И другой вопрос, уже совершенно непостижимый: кто из них теряет больше в случае катастрофы? Ведь они приравнены друг к другу».

Мировая война положила конец «розовым» мечтам Каринти о возможности гармонического развития буржуазной цивилизации и культуры в результате мирного и плодотворного прогресса техники и науки. Если и раньше его одолевали сомнения относительно того, куда идет капитализм, к которому он был привязан образом жизни и мышления, то теперь, когда разум сменило тупое насилие, более всего на свете ненавистное Каринти-гуманисту, его иллюзии развеялись окончательно. Каринти становится в первые ряды тех венгерских литераторов группы «Нюгат», которые во главе с поэтами Ади и Бабичем решительно выступили против войны, требуя в своих художественных произведениях и в политических декларациях прекращения человеческой бойни.

Начав свое антивоенное творчество как пацифист, отрицающий любое насилие, Каринти на протяжении четырех военных лет прошел заметную эволюцию. Его первые антивоенные очерки и юморески несут на себе следы критики отдельных пороков буржуазного мира, послуживших, на его взгляд, причиной человеческих бедствий: он высме-

ивает официальную литературу и печать, вводящие в обман обывателя («Декадентщина»), издевается над техникой, поставленной на службу военного разрушения («Нажатием кнопки»), пригвозждает к позорному столбу человеконенавистнические инстинкты людей, аморальность оголтелого буржуа («Воскрешение»). Но чем дальше, тем сильнее его произведения становятся социально заостренными, он выступает против натравливания одного народа на другой, логически доказывая, что истинное различие интересов кроется не между народами, а внутри каждого из них, ибо в каждом народе есть грязные политики и простые люди, генералы и рядовые (очерки «Понять друг друга», «Сражение» и др.).

В изобличении войны и ее антинациональных целей Каринти не останавливается перед сатирой на правительство собственной страны, в отличие от многих буржуазных пацифистов, предпочитавших бичевать лишь чужие правительства. Главную свою писательскую задачу в этот период он видел в разоблачении лживой демагогии правительственной пропаганды. Каринти пишет убийственный памфлет под названием «Поджигатели мира, защитники войны», в котором вскрывает механику империалистической демагогии. Обращаясь к солдатам в окопах, он призывает их «не терпеть, чтобы к человеческим ранам прикладывали примочку из сладеньких фраз».

Каринти как художник-гуманист набирал силу в годы войны под влиянием большой общественной цели, которую поставил перед собой. Элегическая ирония в его творчестве все больше уступала место острой сатире, патетическая интонация и экспрессионистская эмоциональность — рационалистическому анализу и смелой фантазии. Значительно обогатилось и жанровое многообразие его пера. В 1915 году Каринти пишет свою первую большую драму «Завтра утром», в которой под свежим впечатлением поле-

тов с Виттманом создает образ человека, победившего в себе чувство страха и потому сумевшего подняться над окружающей его меркантильной средой. В 1916 году писатель кончает повесть «Извините, господин учитель», вошедшую в золотой фонд мировой литературы о юности.

«Я понял,— говорит герой этой повести,— что после гимназии все будет совсем не так хорошо, как я надеялся». И как ни горько было герою повести в старой гимназии, как ни тяжело было ему сражаться один на один «со смертельными опасностями и рифами», подстерегающими маленького человека на каждом шагу, он, став взрослым, счастлив пережить свою юность вновь, ибо «школа жизни» оказалась куда более жестокой и эгоистичной. С большой лиричностью воссоздает Каринти сложный внутренний мир своего героя. Через всю книгу проходит мысль о неизбежном столкновении высоких юношеских идеалов с мертвящей действительностью реальной жизни. (Об этом же, в частности, автор писал и в своей программной новелле «Встреча с молодым человеком», то есть с самим собой спустя сорок лет.) Пожалуй, с наибольшей остротой и грустной иронией идея столкновения мечты и бескрылой действительности была раскрыта Каринти в главе книги, которая называлась «Повис на турнике...», где герой, беспомощно болтаясь на перекладине в гимнастическом зале, предается убаюкивающей мечте о том, что, захоти он — и вмиг станет чемпионом по гимнастике, да еще «главным академиком» впридачу. Любя своих героев, Каринти тонко и талантливо развенчивал зряшные и беспочвенные иллюзии маленьких людей, подготавливая их к испытаниям в жестокой и грубой реальной жизни.

В те же годы происходит первое серьезное обращение Каринти к научной фантастике. Он пишет повесть «Легенда о тысячеликой душе», в которой рисует утопическую попытку ученого-одиночки поднять бунт против человеко-

убийственной бойни и, пользуясь своим изобретением «вечной души», положить конец всемирному военному психозу. При всей наивности и утопичности этой небольшой повести, навеянной антивоенными настроениями среди европейской интеллигенции, в ней нельзя не заметить благородного стремления писателя поставить на службу миру на земле только зарождавшийся в ту пору в Венгрии жанр научной фантастики, который, к сожалению, после Каринти так и не получил серьезного продолжения.

Гораздо более удачной была попытка Каринти в том же 1916 году создать повесть о фантастическом мире неорганических существ, паселяющих одну из планет солнечной системы. В «Путешествии в Фа-ре-ми-до» Каринти еще на заре развития современной науки о Вселенной, задолго до полетов в космос человека и возникновения новых областей познания совершил смелую попытку заглянуть в мир иной цивилизации. Там царствовали не бездушные роботы, творения рук человеческих, а неорганические существа, достигшие высшей степени организации и рассматривавшие человека как болезнетворный организм, как временное отступление от законов развития неживой природы.

Свою фантастическую повесть Каринти написал в духе Свифта, как продолжение путешествий Гулливера. Он старался сохранить в ней не только авторский стиль и характер знаменитого героя, но и свифтовскую манеру иронического повествования. Забавная сказка постепенно представляла серьезным, отнюдь не шуточным размышлением о самом главном в жизни человека — о природе его взаимоотношений с внешним миром и обществом. Каринти органично вжился в свифтовский стиль, но так же, как и «Путешествия Гулливера», его повесть несет на себе неизгладимую печать своего времени. Сохранив исходную ситуацию, Каринти как бы переносит свифтовского героя

в XX век, точнее в его первые десятилетия, и заставляет его действовать и размышлять как своего современника.

Главная ценность сатирической фантазии Каринти не в отдельных исторических параллелях и ассоциациях, а в размышлениях о характере современного ему буржуазного общества в целом. В эпидемии массового уничтожения людей, которая вспыхнула в годы первой мировой войны, Каринти как бы провидел грядущие фашистские бесчинства, культ насилия и политических убийств, порожденных буржуазным строем. Каринти был потрясен антигуманизмом общества, к которому сам был привязан крепкими узами. Видя тупик, в который оно заходило, он не мог не возвысить протестующий голос.

Но было еще одно обстоятельство, заставлявшее Каринти обратиться к мысли о существовании иных цивилизаций. Наряду с развитием науки и техники он замечал, по-видимому, и другую, чисто психологическую сторону этой проблемы: противоречие между прогрессом научного мышления и обывательским сознанием. Преодолению этого противоречия, освобождению сознания масс от предвзятых и ограниченных представлений о Земле как единственной колыбели живого и служило описание нового путешествия современного Гулливера в мир разумных существ, столь непохожих на землян. При всей фантастичности этой гипотезы она необыкновенно расширяла представление человека о Вселенной, о его власти над природой и безграничных возможностях, в свою очередь накладывающих на человека небывалую ответственность за свои действия.

4

К переломному в истории человечества 1917 году Каринти приходит с максимально радикальными убеждениями, которые можно ждать от буржуазного гуманиста. «Что

такое насилие, — писал он в то время, — как ни оружие лжи, неправды. Когда же неправда в критическом положении отчаянно хватается за оружие правды, имя которому Познание, оно, это оружие, обращается против нее самое, против лжи».

Общегуманистический протест против войны помог Каринти принять и приветствовать сначала буржуазную, а затем и социалистическую революцию в России. Враг насилия, он поддерживает диктатуру русских рабочих и считает мирную политику партии большевиков единственным средством излечения «взбесившегося» мира. Было бы, однако, преувеличением на основе его заявления тех лет о том, что «противоположность войны есть не мир, а революция идей», считать Каринти близким идеям коммунизма. Как справедливо отмечает К. Салаи, современный венгерский исследователь творчества Каринти, «русская революция для него была важна своими мирными требованиями, а не сутью социальных преобразований». Тем не менее сдвиг мировоззрения влево под влиянием февральской и Октябрьской революций 1917 года был весьма симптоматичен для передовой европейской интеллигенции. «Полевение» Каринти заставило его сделать шаг от пассивного пацифизма к активной позиции бунтаря, признающего насилие как средство обуздания зла. Это был потолок, которого в своей романтической оппозиции достиг Каринти, в ту пору не признававший классовой борьбы как движущей силы общества. Уже в следующем, 1918 году он отходит от своих прежних радикальных позиций. Едва был заключен мир и солдаты стали возвращаться из окопов, как он снова выступает против каких бы то ни было насильственных действий — и «сверху», и «снизу». Он хочет видеть людей у мирных семейных очагов, а как, каким путем это произойдет, его не интересует: лишь бы не лилась кровь, лишь бы людей не бросали в тюрьмы.

Одной из немаловажных причин внутренней надломленности Каринти в этот трудный для него год послужила личная трагедия: умерла от «испанки» его горячлюбимая жена Этель, без которой он не мыслил жизни. Каринти воспринял утрату жены, самого дорогого для себя существа, почти мистически, как кару за преступления человечества. Писатель надолго был выбит из строя. В дни венгерской Коммуны 1919 года он на какое-то время приходит в себя и если уж не столь активно, то, во всяком случае, вполне сочувственно относится к культурным начинаниям Советской власти в Венгрии и даже принимает участие в деятельности так называемого писательского директориума (за что впоследствии подвергся преследованиям хортистских властей); но это был уже не прежний едкий и задорный Каринти, а скорее его тень: он жил и действовал как сомнамбула.

А жизнь, реальная и жестокая, продолжала наносить удары тонкой и необыкновенно чувствительной душе этого крупнейшего венгерского писателя-гуманиста. Контрреволюция в Венгрии; въезд сухопутного адмирала Хорти на белом коне в «освобожденный» Будапешт; белый террор; виселицы, расстрелы, тюрьмы; три миллиона нищих в девятимиллионной стране! Где здесь мораль, где политика? О каком уж тут гуманизме, о просветительских идеалах можно витийствовать! И Каринти замолкает на много лет.

Он возвращается к творчеству медленно, осязая, как бы все начиная сначала. В условиях разгула крайней реакции Каринти мучительно подвергает анализу и пересмотру те модные течения буржуазной культуры и философии начала века, которые пытались объяснить мир, запутавшийся в собственных противоречиях. В сборнике новелл «Харун-ар-Рашид» (1924) он с большой долей скепсиса и гротеска порывает с прошлыми иллюзиями. Модные теории релятивизма, фрейдизма, психоанализа попа-

дают под тонкий скальпель умудренного жизнью писателя. И хотя Фрейд для него, как и для многих европейцев, по-прежнему остается важной вехой на пути познания действительности, теперь в глазах Каринти это уже не отмычка для всех тайн бытия, а всего лишь средство, притом не самое главное, познания одной из сторон человеческой деятельности.

Потеряв веру в возможность объяснить мир с позиций абстрактного гуманизма и не приобретя иной философской концепции, Каринти теперь стремится не к объяснению мира, а к раскрытию его объективных сторон. Он видит тупик, в который зашли многие идеи буржуазной философии, и поэтому считает необходимым прежде всего установить самые элементарные понятия. «Мы переживаем новый Вавилон,— пишет он в 1928 году,— дьявольскую путаницу в понятиях: я дошел до того, что удивляюсь, когда два человека понимают одно и то же под словом «стол». Бог, честь, искусство, родина, человек, женщина, мир — где вы найдете сейчас две души, которые чувствуют и видят значение этих слов тождественно? Каждый что-либо стоящий писатель обречен на одиночество посреди хаоса и должен создать для себя весь мир сначала, как это сделали в XVIII веке энциклопедисты Руссо, Дидро, Вольтер, Даламбер... Ценность каждой истины и открытия находится в обратной зависимости от числа тех, кто ее добывает».

5

Произведения Каринти 20—30-х годов в большой степени отличаются эзоповским языком, иносказательностью и аллюзиями, фантастическими сюжетами и парадоксальностью. Однако за внешне ирреальной формой легко обнаруживаются вполне реальные заботы и тревоги автора, чутко реагирующего на повседневную жизнь. В многочис-

ленных новеллах и юморесках тех лет он переносится на машине времени то в далекое прошлое («Сын своего века»), то в не менее отдаленное будущее («Экзамен по истории»); заставляет своего современника и собрата по перу совершить полет на Марс и прочесть марсианам лекцию о Земле («Легенда о поэте»), а марсианина спуститься на грешную землю («Письма в космос») и превратиться в обывателя; сталкивает будапештского мещанина с доисторическим человеком, которому современная цивилизация, не без известных оснований, кажется крайней степенью одичалости («Первобытный человек»); заставляет простого смертного прожить жизнь в обратном порядке — от смерти до рождения («Ставлю опыты»), а младенца за полчаса превращает в брюзгливого старика («Ускоренное развитие»). За всей этой буйной игрой писательской фантазии у Каринти всегда легко обнаружить глубокую любовь к людям, протест против уродств буржуазного общества, отчаянные поиски исторической перспективы.

В этот период Каринти завершает свою наиболее известную фантастическую повесть «Капиллария», задуманную еще в 1918 году как шестое путешествие Гулливера. Если в «Путешествии в Фа-ре-ми-до» писатель, обращаясь к иной цивилизации, размышлял о характере современного ему буржуазного общества в широком политическом аспекте, то сейчас он как бы умышленно рассматривает под микроскопом мельчайшую и изначальную клеточку человеческих отношений — отношения между мужчиной и женщиной в современном ему мире.

В развернутом письме к Герберту Уэллсу, которое предворяло повесть, венгерский фантаст признавался, что она была написана «в тревожном состоянии духа и при мучительных обстоятельствах», сочинялась медленно и «с нелюбовью». Если бы, говорил Каринти, я смог поведать свои мысли устно хоть одному существу, я не написал бы

этой книги. И здесь он вновь формулирует свою излюбленную мысль о стимуле творчества: «Не могу сказать никому, потому говорю всем».

Нет смысла пересказывать содержание этой необычной даже в жанре фантастики повести: читатель прочтет ее и сам сделает свои выводы. В ней, как и в других своих произведениях, Каринти-фантаст неотделим от Каринти-сатирика. Представляется важным, однако, высказать одно предварительное замечание: Каринти с тонкой иронией подмечает во взаимоотношениях двух полов зачаток аномалии человеческих отношений в современном буржуазном мире, видит кризис нравственных и моральных устоев общества. В этом смысле «Капиллария» — одно из разительных сатирических произведений мировой литературы XX столетия, сатира на извращение самого дорогого для человека чувства — любви, сатира на нищету любви в корыстолюбивом мире лицемерия, делячества и чистогана. Свое письмо к Уэллсу Каринти заканчивал словами: «Любовь является рабством, если одна сторона господствует над другой, и пусть твердо запомнят все женщины, что мы, мужчины, славим любовь и восторгаемся ею потому, что видим в ней путь к свободе». Каринти не остановился даже перед тем, чтобы процитировать слова известного шестистишья Петефи, полушутя-полусерьезно призывая всех женщин запомнить:

Любовь и свобода —
Вот все, что мне надо!
Любовь ценою смерти я
Добыть готов,
За вольность я жертвую
Тобой, любовь!

Обращение Каринти к революционному романтику Петефи в этот переломный период было чрезвычайно показа-

тельно. В конце 20-х — начале 30-х годов Каринти вновь обретает свой воинственный темперамент, хотя обстоятельства жизни у него крайне тяжелые. Он подвергается нападкам со всех сторон, его пьесы терпят один провал за другим, материальное положение резко ухудшается, здоровье тоже. Прежние идеалы растеряны, новые — не обретенны. А над Европой между тем поднималась мрачная тень свастики, против которой Каринти, не колеблясь, с самого начала вступил в непримиримую, смертельную борьбу.

Тридцатые годы проходят под знаком антифашистских выступлений Каринти. В печати и устно он вновь трубит сбор для всех гуманистических сил Венгрии, поддерживает связь со своими единомышленниками на Западе — Бернардом Шоу и Томасом Манном. Он вновь провозглашает смех своим главным оружием, ибо, как он пишет в эти годы, «слезы значат покой, умиротворение, смерть, а смех — это борьба, сопротивление, страдания, жизнь. Вот почему я отрекаюсь от умиротворенности слез и требую, провозглашаю муки смеха».

Политические позиции Фридьеша Каринти в последний период его жизни были позициями воинствующего гуманиста, ответившего на вопрос М. Горького «С кем вы, мастера культуры?» активным и смелым участием в широком антифашистском фронте всех прогрессивных сил. «Аполитичный», как пытались представить Каринти некоторые исследователи, писатель выступал с острыми политическими статьями, в которых саркастически высмеивал фашистскую диктатуру Гитлера и Муссолини. В то же время его привлекал грандиозный «советский эксперимент», он с пониманием писал о пятилетках и приветствовал энтузиазм и новаторство социалистических начинаний на советской земле. Его излюбленная тема — развитие науки и техники в современном обществе — в эти годы приобретает новое звучание. «Капитализм волей-неволей становится на пути

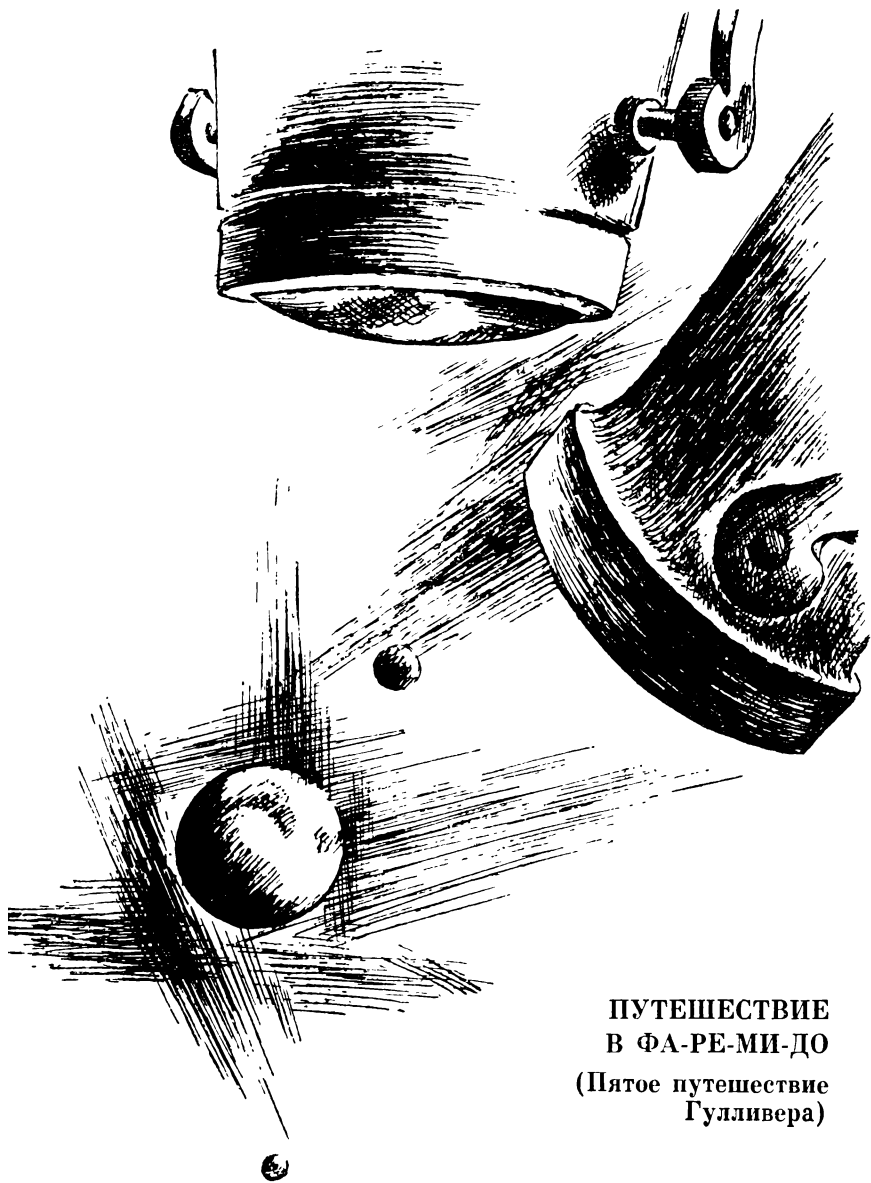
технической революции,— пишет он,— ибо она неминуемо ведет к упразднению частной собственности, которую, кстати, мне вовсе не жаль».

Последним произведением Фридьеша Каринти было уникальное в своем роде описание сложнейшей нейрохирургической операции, которую он перенес в связи с опухолью мозга. Операция прошла успешно, но дни писателя были сочтены. Он назвал свою последнюю повесть «Путешествие вокруг собственного черепа» и поставил точку перед самой смертью.

Как завещание он оставил в своем блокноте такую запись: «Страдания недостойны настоящего человека, они туманят мозг и застилают пеленой глаза, а человек должен смотреть на мир свободно...»

Художник-гуманист, почти наш современник, Каринти знал силу и целебное свойство смеха в свой мало приспособленный для смеха век.

Ал. Гершкович



**ПУТЕШЕСТВИЕ
В ФА-РЕ-МИ-ДО
(Пятое путешествие
Гулливера)**

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Автор оглядывается на свои прежние путешествия. — В Европе вспыхивает мировая война; автор попадает хирургом на военный корабль «Бульверк». — Вблизи Эссекса немецкая подводная лодка торпедирует судно. — Автор и капитан корабля спасаются на гидроплане. — В критическую минуту удивительный летательный аппарат помогает автору в полной сохранности достичь берегов Фа-ре-ми-до.

Читатель, несомненно, удивится, что, вопреки печальному опыту и клятве никогда в жизни больше не путешествовать, я тем не менее в июле тысяча девятьсот четырнадцатого года вновь расстался с женой и детьми, чтобы в качестве военного врача двинуться на корабле «Бульверк» в воды Балтийского моря. Найдутся люди, которые обвинят меня в непоследовательности: ведь уже после первого путешествия, когда я счастливо выбрался из Лилипутии, мне, казалось, должно было стать ясным, что для истинного англичанина самое лучшее — никогда не переступать границ своего страстно любимого отечества, ибо в противном случае он доставит себе массу беспричинных и бесцельных хлопот и огорчений, не говоря уже о том, что рано или поздно его все равно выдворят отовсюду и он вынужден будет вернуться в «альма матер».

Последующие путешествия в Бробдингег, Лапуту и страну гуингнмов еще более убедили меня в справедливости вышесказанного, что, вероятно, подтвердит и читатель; ибо, если (главным образом памятуя о последнем удивительном приключении) я укротил бы свой нрав пос-

ле возвращения на родину из Лапуты и Лагадо, то скольких ужасных и смертельных опасностей я бы избежал! Не буду говорить ни о чем другом, ограничусь лишь упоминанием об одном почти роковом для меня случае, когда, бросившись в море с палубы корабля в знак протеста против того, что меня силой пытались заставить вернуться в Англию, я чуть было не погиб. Останься же дома, я мог бы избежать этой трагической ситуации.

Дабы хоть как-то оправдать собственную непоследовательность, я желал бы сослаться на то пламенное и беззаветное чувство патриотизма, которым полна душа каждого английского подданного, чувство, которое заставляет его во имя отчизны рисковать жизнью и даже, если угодно, имуществом. Летом одна тысяча девятьсот четырнадцатого года австро-венгерская монархия потребовала сатисфакции у сербского правительства за то, что последнее руками наемных убийц покусилось на жизнь наследника престола. Рыцарская честь нашей любимой родины, а также России, естественно, не могла вынести того, чтобы сильное и могучее государство, каким является австро-венгерская империя, напало на слабый и беззащитный маленький народ, у которого нет даже сил вступить в открытый поединок со своим врагом и который поэтому был вынужден прибегнуть к коварному покушению из-за угла, когда у него возникло желание с кем-то разделаться. Таким образом, дабы обеспечить мир в Европе, моя родина выступила против Германии, постоянно угрожающей войной миру и цивилизации. Мы помирились с Россией в надежде, что та призвет на помощь своего старого соперника Японию, что и не замедлило случиться.

Разумеется, при подобных обстоятельствах каждый уважающий себя англичанин счел своим неременным долгом встать на защиту отчизны, подвергшейся незаконному и вероломному нападению, тем более что нашу за-

мечательную армию и непобедимый морской флот уже десять лет готовили к предстоящей войне, о чем знали все и каждый. Я тоже немедленно отправился на призывной пункт, не будучи в состоянии противостоять частично своей беспокойной и жаждущей приключений натуре, которая толкала меня на все новые авантюры, а частично тому неугасимому и неистребимому чувству патриотизма, которое пробуждается в душе каждого британца, когда речь идет о том, чтобы пожертвовать своей кровью и жизнью за общее дело. Я окончательно укрепился в своем решении, когда в качестве судового врача в запасе получил повестку явиться в часть, к которой был приписан. Я трезво рассудил, что, не явись я добровольно, меня привлекут к военному суду и наверняка расстреляют.

В призывном пункте меня определили на линейный корабль «Бульверк», в задачу которого входило патрулировать берега вдоль Эссекса и в случае необходимости поддерживать наступательные операции эскадры. Мой командир, сэр Эдвард Б., в высшей степени светский и вполне образованный человек, с первых же дней удостоил меня своей дружбой и рассказал немало интересных и важных со стратегической точки зрения подробностей из частной жизни нашего адмирала.

Поначалу наш корабль не участвовал в боевых операциях и курсировал между французским берегом и Эссексом, перевоза раненых. Как хирург, я приобрел чрезвычайно много ценных профессиональных сведений: от своего имени и от имени своих коллег я беру на себя смелость утверждать, что нет на свете ничего, что бы так успешно двигало вперед замечательную науку хирургию, как современная война, которая предоставляет в распоряжение любознательного врача интереснейшие и необычайнейшие хирургические случаи, связанные с применением бесчисленных видов новейшего оружия — пулеметов, гра-

нат, газа, авиабомб, разрывных и отравленных ядом пуль и т. д. и т. п. Лично мне довелось столкнуться не менее чем с тридцатью четырьмя видами смертельных ранений и болезней, которые до того не фигурировали ни в одном из существовавших медицинских справочников.

Без лишней скромности замечу, что своим описанием этих случаев я внес немалый вклад в медицину. Я видел причудливо раздробленные кости, рассеченные печени и селезенки, вспоротые животы с перевернутыми внутренностями, продырявленные глаза. Был один раненый, у которого лицо и грудь раздулись до размеров пивной бочки, ибо пуля прошла ему дыхательное горло и лишь часть воздуха попадала в легкие, остальная же шла под кожу. У другого в результате попадания осколка гранаты в правое плечо и повреждения артерии высохла левая рука. Вдоволь повидал я всяческих ран — стреляных, рваных, штыковых... Хотя, строго говоря, это не относилось к моей профессии, но попутно я сделал и несколько любопытных наблюдений в области психических заболеваний. Попал в мои руки, например, один японский солдат (как известно, для защиты европейской культуры мы призвали на помощь и японцев); так вот этот японец на фронте помешался: его *idée fixe* была — представьте себе — мысль о том, что он знает, за что воюет.

До конца ноября наш крейсер метался вдоль английских берегов — не буду докучать читателю подробностями. Двадцать второго ноября пришел по телеграфу приказ спустить раненых на берег, укомплектовать экипаж до полного боевого расчета и двинуться на Диксмуиден, который был занят немцами. Мы приняли на борт семьсот человек с полным боекомплектом и двадцать четвертого ноября при густом тумане взяли курс на Бельгию. И хоть наши прожектора разрезали туманную мглу, мы тем не менее сбились с курса и несколько отклонились в сторону, взяв

больше чем нужно вест-зюйд-веста. Ноября двадцать пятого мы увидели в тумане какие-то световые сигналы, но не смогли их прочесть, а сделав еще несколько узлов, нащупали прожекторами очертание незнакомого судна. Мы привели в боевую готовность орудия, подняли по тревоге команду, все заняли свои места, и в ту самую минуту, когда была подана команда «полный вперед», страшный взрыв потряс палубу: наш корабль наткнулся на мину.

Ужас охватил всех. Люди потеряли голову и бросились к спасательным шлюпкам, образовав невероятную сутолоку. Взрывная волна сбросила меня с капитанского мостика, где я беседовал с командиром, и я потерял сознание. Когда же я очнулся, «Бульверк» лежал на боку и стремительно погружался в пучину. Матросы, ругаясь и дубася друг друга, воевали за шлюпки. Все места были заняты, обо мне никто и не вспомнил. Я понял, что пропал, и в отчаянии проклял минуту, когда вступил на палубу «Бульверка». Но в этот момент капитан нагнулся ко мне и сделал знак следовать за ним. Задыхаясь, мы достигли кормы. Капитан поднял крышку потайного люка и приказал мне скорее спускаться. Я увидел внизу, на нижней палубе, большой гидроплан, полностью оснащенный и готовый к вылету: мотор уже был заведен. Одним прыжком мы заняли места в кабине, капитан нажал рычаг, и в следующее мгновение наша машина легко соскользнула на воду. Пропеллер завертелся, и мы несколько километров пробежали по волнам, прежде чем поднялись в воздух. Оглянувшись, я уже не увидел «Бульверка»: в тумане подо мной мерцали смутные огоньки. Вскоре ничего вокруг нельзя было разобрать: густая мгла окутала нашу машину, и с каждой минутой мгла делалась все плотнее. Холод пронизывал до костей. Рев мотора не давал говорить, и я не имел ни малейшего представления ни о маршруте, ни о высоте. Съездившись, я сидел в кабине, временами теряя сознание

от невероятного холода и стремительного встречного ветра. До сих пор не знаю, сколько мы летели — три часа или полсуток. Помню только, что я вдруг почувствовал, как по подбородку что-то течет; когда я дотронулся до лица, рука оказалась в крови. Более того, кровь выступила и из-под ногтей. Стало трудно дышать.

Туман вокруг, казалось, начал рассеиваться. Где-то вдали забрезжил какой-то противоестественный мерцающий свет. И тогда я понял: мы залетели слишком высоко, туда, где воздух разрежен. В ужасе схватился я за плечо капитана, но он был недвижим. Я нагнулся к нему и заглянул в лицо: оно окаменело, глаза были совершенно стеклянные, из ноздрей сочилась кровь. Руки его, лежащие на штурвале, свело судорогой. Отчаяние охватило меня; я попытался оттолкнуть капитана — он тяжело подался влево, голова его упала на грудь. Я схватился за руль, хотя понимал, что пришел конец, что больше мне не выдержать.

И вот тогда надо мной что-то прошелестело. Взглянув вверх, я увидел в рассеивавшемся тумане огромный, странный, похожий на птицу аппарат. Первым моим желанием было закричать, что я сдаюсь (моему помутившемуся рассудку аппарат показался вражеским самолетом), но ни один звук не шел из моего горла. Внезапно я почувствовал, будто какая-то невидимая сила подняла меня с кресла, и одновременно моих ушей коснулся странный, нежный музыкальный аккорд. Я закрыл глаза.

Когда я снова открыл их, вокруг была черная ночь, надо мной и подо мной простиралось бездонное небо, усеянное звездами: я узнал Большую Медведицу — и неизъяснимый, блаженный покой разлился по всему моему телу. Я лежал на чем-то мягком, словно подвязанный на крепких эластичных нитях, не причинявших никаких неудобств. Мерно и мелодично, будто из плохо завернутого

крана, падали мне на лоб капли прохладного, ароматного напитка. Летим ли мы или стоим на месте, я определить не мог, равно как и то, сколько времени я находился в таком состоянии.

Потом я увидел сверкающую зелень долины с капризными изгибами рек и горных хребтов. Сначала мне почудилось, что все это я вижу где-то вверху, над собой, но потом, когда мы стали плавно спускаться, убедился в обратном. Некоторое время мы парили над светло-зеленой, будто умытой, лесистой местностью, затем приблизились к цветущей поляне, которая все увеличивалась в своих размерах,— и я понял, что мы садимся. Только тогда до меня дошло, отчего я чувствую такое блаженство: мой слух уже давно услаждал один-единственный чистый аккорд, звенящий с такой мелодичностью, что казалось, я купаюсь в нем, как в прохладной воде. Я стал прислушиваться и понял, что аккорд этот слагается из четырех простых нот и притягательность музыки заключается скорее в ее окраске и мягкости, чем в последовательности звуков. В детстве я немного играл на фортепьяно и слегка разбираюсь в музыке, поэтому я сразу определил, что следующие друг за другом четыре ноты — f, d, e, c — на музыкальной шкале соответствуют гамме фа-ре-ми-до. В это мгновение мы приземлились.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Аппарат, доставивший автора, оказывается сознательным существом. — Необычный разговор. — Человекоподобные деревья. — Замок.

Очнувшись, я открыл глаза и огляделся. Передо мной расстилался широкий край, купающийся в ослепительных лучах солнца: по одну сторону тянулась плавно вздымающаяся цепь невысоких гор, по другую извивалась, сверкая гладью вод, река, окаймленная голубовато-зеленым кустарником. Через реку был перекинут незатейливый железный мост без всяких перил; к синееющему вдаль лесу вела белая дорога с деревьями странной формы по обеим ее сторонам. Дорога казалась длинной и пропадала в голубой дымке. Там, где она доходила до леса, смутно вырисовывалась между деревьями не то арка, не то подобие ворот.

Весь ландшафт с висящей над ним увеличенной чуть ли не вдвое против привычного тарелкой солнца был необычайным, сказочным, чужим и вместе с тем необъяснимо знакомым, словно я здесь был уже не в первый раз. Позже, размышляя над этой загадкой, я пришел к выводу, что этот край знаком мне по снам, я посещал его неоднократно, особенно в детском возрасте. Да, это был сон моего детства, неожиданно повторявшийся затем через большие промежутки времени: впервые, еще подростком, я сживал здесь на берегу реки и мечтательно смотрел на далекий лес, откуда слышалась незнакомая, сладкая музыка; потом, уже в отрочестве, мне снилось, как я перехожу через мост и иду по песку белой дороги. Мне грезился этот край и в юности, когда меня забрали в солдаты: с походным ранцем за спиной я шагал к лесу, все к лесу — я

знал, что там меня ждет что-то приятное, блаженство отдыха и покоя, но мне почему-то чудилось, что я никогда туда не дойду.

И вот теперь мои сны обернулись вполне осязаемой действительностью: я бодрствовал, я хотел пить, я попробовал пошевелиться. Резкая боль в животе пронзила меня. И в то же мгновение неведомая сила подняла меня над сиденьем и с минуту подержала в воздухе. В испуге я увидел, что вокруг моего пояса обвилась какая-то узкая шарнирная петля, похожая на запястье. Утолщаясь кверху, она заканчивалась металлической рукой. В следующую минуту механическая рука приподняла меня еще выше, затем бережно опустила на землю в трех-четырех метрах от воздухоплавательного аппарата, в котором я до того сидел. Проведя эту операцию, рука куда-то исчезла. Я взглянул вверх и увидел над собой странный, доселе невиданный механизм или машину: я могу описать ее лишь сумбурно, в общих чертах, ибо не мог бы даже воспроизвести увиденное на бумаге, хотя с тех пор неоднократно видел и ее и ей подобных. Первое, что пришло мне в голову, была мысль о том, что передо мной особый, совершенно незнакомой конструкции чрезвычайно сложный самолет, отличающийся от известных мне тем, что он сконструирован по вертикали, с двумя серебряными оперениями по бокам. Форма его и в самом деле была неопишимо странной: верхняя часть представляла собой яйцевидный золотой шар, сплюснутый на макушке таким образом, что он напоминал собой чрезвычайно симметричный, но стилизованный человеческий череп (нечто подобное лепят наши скульпторы для украшения городских ансамблей). На месте глаз сверкали две круглые стеклянные линзы, излучавшие красноватый свет. Из-под линз тянулись две странные трубки, доходившие до длинной, изящно изогнутой щели, которая была прикрыта золотой пластиной, мерно поднимавшейся

и опускавшейся. «Торс» фюзеляжа имел форму щита и также был сделан из золота и искусно орнаментирован мозаикой из драгоценных камней. Там, где должен быть живот, помещалось металлическое колесо. Весь механизм стоял на двух сужающихся книзу опорах, которые заканчивались сложной шестеренчатой системой: шестерни свободно и легко вращались, благодаря чему аппарат мог и ступать по земле и подниматься над ней, причем при ходьбе по ровной дороге колесики вращались очень быстро.

У аппарата были две главные руки — они же крылья, — но сверх того имелось еще множество более гибких и меньших по размеру металлических рук, которые шли от живота и были оснащены разнообразными наконечниками, один из которых — в виде шарнирной петли — и вытащил меня из машины.

Вопреки кажущейся сложности весь аппарат в целом странным образом производил впечатление простоты и крайней целесообразности. Чувствовалось, что в нем все на своем месте, все функционирует в удивительной гармонии, более того — с первой же минуты он вызывал невыразимо приятное чувство, вы забывали, что перед вами механизм, безусловно являющийся шедевром рациональной и совершеннейшей техники; всем своим видом он действовал на вас исключительным образом. Я не могу иначе выразить вызванное им чувство, как только приблизительными словами, и когда я говорю, что этот аппарат был красивым, то под этим я понимаю значительно больше, чем значит это слово в обычном смысле, когда мы употребляем его, например, для выражения впечатления от картины или в еще большей степени при виде красивой женщины. Я простой хирург и не мастак в искусстве самовыражения, но помню, что тогда в поисках подходящего сравнения я перелопачивал в уме множество самых обворожительных эпитетов, какие только находят влюбленные юноши в минуты экста-

за. Возможно, это в свою очередь также объяснялось моим не совсем нормальным состоянием — ведь мой слух по-прежнему услаждали дивные звуки, а, кроме того, какие-то особые токи, которые, как мне казалось, исходили от машины, держали каждый мой нерв в напряжении. Внутри машины раздавался постоянный мелодичный звон. Наконец она опустила крылья на землю и я почувствовал легкое прикосновение к своему лицу, будто кто-то решил меня пощекотать. Подняв голову, я увидел уставившиеся на меня две линзы. В тот же миг «машина» подняла руку, дотронулась до меня и снова отступила. Пока я терялся в догадках, кто это существо, приводящее в движение механизм, на яйцевидной голове зашевелилась антенна и снова зазвучала невыразимо приятная мелодия, которую я слышал раньше, но теперь уже не в гамме фа-ре-ми-до, а в ином порядке, как-то глубоко и с какой-то быстрой завитушкой на конце — жаль, что я не владею хроматикой, но мне показалось, что-то вроде «г-а-а-гис, г, гис». Эта гамма повторялась неоднократно, причем глаза-линзы в упор смотрели на меня.

Я испытывал необыкновенное чувство: казалось, меня обучают незнакомому языку, который не имеет связного текста. Какое-то время я стоял потрясенный, затем открыл рот и невольно попробовал воспроизвести странные звуки. После нескольких упражнений я довольно сносно сумел их повторить. И в то же мгновение музыка оборвалась, машина как бы затихла, прислушиваясь к моему произношению. Я повторил странную гамму, но уже громче. Машина воспроизвела три новых звука, которые я тоже пропел вслед за ней. Тогда машина протянула ко мне одну из своих рук и одобрительно хлопнула по плечу. Эта игра в звукоподражание повторилась несколько раз, причем с каждым разом мелодии видоизменялись. Внезапно послышался вздох, крылья машины загудели, в лицо мне ударил

ла воздушная волна, и в следующее мгновение аппарат поднялся в воздух, сделал круг над моей головой, повернул к реке и, уменьшаясь в размере, скрылся за лесом. Я же в оцепенении замер на месте и только спустя несколько минут пришел в себя и осмотрелся.

Поле, на котором я стоял, покрывала бархатистая трава. Почва под ней была очень мягкой, рассыпчатой, необыкновенно рыхлой. И только сейчас молнией пронзила меня мысль об отчаянном положении, в котором я оказался. Где я? На какой территории — вражеской или союзнической? Что мне предстоит? Тревожила меня и судьба однополчан, я ведь не знал, удалось ли кому-нибудь спастись с «Бульверка», сообщили ли властям о том, что я покинул тонущий корабль на гидроплане капитана? Если об этом узнали, то наверняка объявили открытый розыск, меня ищут как дезертира, чтобы отдать под трибунал.

Потом я подумал: в мире, где существуют такие совершенные машины, как та, что я только сейчас видел, должно быть, и люди весьма разумны и предупредительны, и они, безусловно, поймут мое щекотливое положение. Оставалось только выяснить, как найти тот город или лагерь (не знаю уж, как это назвать), которому принадлежат летательные аппараты. Мне было совершенно очевидно лишь одно — страна, куда я попал, не является Германией, ибо в противном случае наши славные разведчики давно донесли бы о существовании секретного оружия у вражеской армии. Итак, я доверился судьбе, сложил свое снаряжение на траву и приготовил носовой платок на тот случай, если территория все-таки окажется вражеской. Я решил, что в этом случае, следуя правилам Гаагской конвенции, сдамся на милость первому встречному.

Осторожно, не торопясь я двинулся к реке, внимательно оглядываясь по сторонам, но нигде не обнаружил ни сдиной живой души. Беспрепятственно перейдя через мост,

я решил идти в сторону леса по белой дороге. Я уже приближался к группе деревьев, стоявших в начале аллеи, когда нечто совершенно сверхъестественное заставило меня вздрогнуть, сделать шаг назад и машинально схватиться за карман, где лежал спасительный носовой платок: на какую-то долю секунды мне почудилось, будто дерево, к которому я приблизился, было вовсе и не деревом в обычном смысле этого слова, а живым существом. С расстояния в двадцать шагов я мог уже довольно отчетливо его разглядеть: по своей конфигурации оно решительно напоминало человека, хотя и несколько необычного. Вместо кожи тело «дерева» покрывала кора, две нижние конечности коренились в земле, а поднятые над головой руки образовывали пышную зеленую крону из причудливых листьев. Тяжелая, широкая голова с коричневым, покрытым корою лицом повернулась ко мне. Оправившись от первого изумления, я попытался объяснить это странное явление тем обстоятельством, что случайно наткнулся на деревянную скульптуру, шутки ради поставленную на обочине дороги. Вероятно, подумал я, деревья, подстриженные под человека, составляли особенность декоративно-монументального искусства здешних жителей. Успокоенный таким объяснением, я приблизился к странному дереву и дотронулся до него. Да, кора обычная, быть может, только мягче и нежнее, чем у наших деревьев. В том месте, где я нажал пальцем, на поверхности коры выступил какой-то розоватый сок. Мне даже показалось, что дерево словно бы дернулось от боли. Это обстоятельство несколько смутило меня, но, отступив на несколько шагов, я тут же успокоился. Я увидел, что «ногообразные» корни прочно вросли в землю и не дают возможности двигаться. Но, повторяю, дерево очень напоминало человека, даже черты его лица были на редкость «человеческими»; правда, глаза были, пожалуй, слишком пусты и невыразительны, но уж нос, например,

был совершенно правильной формы, а заросший рот с опущенными книзу уголками губ кривился вполне отчетливой трагической grimасой. Было в этом особом выражении лица что-то бесконечно грустное, отчаянно-безнадежное, и мне невольно пришла на ум сказка о бездомном нищем.

Когда же я вновь приблизился к дереву и пригляделся, то с изумлением увидел, что его губы что-то шепчут. Сердце мое сжалось от какой-то необъяснимой боли и участия; я невольно вскрикнул от охватившей меня жалости. В ответ дерево откуда-то из глубины издало глухой стон, с трудом расправило руки-ветви и опять замерло.

Я не мог объяснить возникшее во мне чувство подавленности — знаю только, что не вынес бы вторично этот гулкий, пустой, удивительно тоскливый звук. Я резко повернулся и пошел прочь и только тогда с удивлением отметил, что и остальные деревья были такими же, как и первое: одни более высокие, другие пониже, стояли эти человекоподобные существа с вознесенными к небу руками и печальными, старческими лицами.

Я почувствовал себя отвратительно и ускорил шаг, сознательно не глядя по сторонам, и все же я видел, что вся аллея, которой я шел, состояла из подобных деревьев.

Наконец деревья остались позади и передо мной простерлась гладкая дорога, посыпанная мелким белым песком. Снова мне пригрезилось, будто однажды, во сне, я уже ходил по ней.

При пересечении дороги с лесом, как я заметил еще издали, действительно высилась триумфальная арка, сходившаяся высоко над моей головой. Я с облегчением вздохнул, увидя, что деревья в лесу уже не напоминали человека. Правда, они тоже были какие-то особенные — нигде прежде я не встречал ничего подобного: мясистые, почти круглые листья образовывали густую кровлю над головой, бросающую тяжелую тень на дорогу. Каждый лист казался

зрелым плодом. Моя растерянность возрастала, я готов был всерьез поверить, что все это мне только снится и я вот-вот заблужусь во сне, идя этой мрачной лесной дорогой. Тревожно оглядевшись вокруг, я заметил просвет между деревьями и быстро направился на брезживший солнечный луч. Через несколько минут я вышел из леса и, ослепленный представшей картиной, закрыл руками глаза.

Передо мной раскинулось гигантское плато. Помпезная, выложенная красным камнем широченная лестница вела к нагорью, на вершине которого огромный дворец закрывал полог неба. Лестница доходила до распахнутых настежь фронтальных ворот, высота которых была не меньше сорока метров. Фасад дворца представлял собой одну сплошную полукруглую стену с монументальными колоннами с двух сторон. Ничего более великолепного и более импозантного в зодчестве я не видывал. Но еще большее внимание невольно привлекли две фигуры у ворот: по форме и по виду они как две капли воды были похожи на тот воздухоплавательный аппарат, который доставил меня сюда.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Несколько слов к читателю. — Человек и машины. — Жители Фа-ре-ми-до. — Автора сравнивают с растением.

Читатель, несомненно избалованный описаниями путешествий, возможно, выкажет неудовлетворенность и нетерпение, дойдя до конца предыдущей главы и не будучи способен извлечь *quinta essentia* * из прочитанного: что это за удивительные машины и поразительные деревья, которые я столь бегло и сумбурно описал, — ведь вряд ли, как мне представляется, о них могло быть уже написано в дневниках других путешественников.

Покорнейше прошу читателя принять во внимание, что, во-первых, будучи простым хирургом, я, как уже говорил, не являюсь художником слова и, согласен, весьма неуклюже выражаю свои мысли, а, во-вторых, те чудеса, которые я описал в предыдущей главе, при первом же столкновении с ними поразили меня в не меньшей степени, чем вас. Я прошу лишь терпения и доверия ко мне и позволю себе скромно сослаться на описания четырех моих ранних путешествий, в которых мне тоже частенько приходилось сталкиваться с непонятными на первый взгляд явлениями; суть их и значение раскрывались только в дальнейшем. Во всяком случае, читатель, вероятно, запасся терпением, если он знаком с четырьмя предыдущими моими путешествиями (в Лилипутию, Бробдннгнег,

* *Quinta essentia* (лат.) — буквально предел пределов, суть чего-либо.

Лапуту и в страну гуингнмов), описание которых подготовил к печати мистер Джонатан Свифт.

И тем не менее, чтобы, как говорят, быть ближе к делу, позволю себе забежать вперед и поделиться с читателем уроком, который я извлек лишь в конце своего пребывания в Фа-ре-ми-до и который (подразумевается урок), не искази метафизики двадцатого века картину мира и не испорти ее, я уже давным-давно, еще до того, как попал в Фа-ре-ми-до, должен был бы усвоить, дабы не удивляться тому, с чем столкнулся и что испытал в этой сказочной стране.

Установлено, что, когда на Земле впервые появились люди, не было ни машин, ни искусств, ни науки. Все, что сделали люди своими руками, диктовалось их естественной потребностью: они шили одежду, ибо им было холодно, смастерили топор, чтобы легче было валить деревья. Затем родились науки и искусства, в задачу которых также входило помочь человеку в его тяжком труде и обогатить его представления и понятия о явлениях внешнего мира. Для поднятия тяжестей изобрели лебедку, для более точного и глубокого познания того, что человек видел вокруг, придумали рисование и письмо.

Проходили тысячелетия, и, вполне естественно, наука и искусство становились все более совершенными; человеку помогали в его работе прекрасные машины, умножавшие его возможности, а наскоро схваченные во времени и пространстве чувственные явления запечатлевались в совершенных скульптурах, живописных полотнах и поэтических произведениях, раскрывавших человеку мир его чувств в наиболее полном значении.

В конце концов дошло до того, что машины не только помогали человеку во всех его делах, не только умножили его физическую силу, но и сами превратились в совершенное орудие, получили возможность лучше выполнять те

рабочие операции, которые некогда свершались только приложением мускульной силы. То же и с искусствами: живопись, скульптура, произведения литературы и музыки с таким совершенством воссоздали реальную жизнь в ее формах, цвете, событиях и чувствах, что действительность осталась далеко позади искусства с его красотой, вдохновением и выразительной силой.

Что из этого следовало? Творения техники и искусства превзошли человека: они стали более совершенными, чем сам человек, и вскоре дело дошло до того, что если человек хотел стать совершенным, то вынужден был подражать тем механизмам и тем образам искусства, которые когда-то, в свое время подражали ему, то есть моделировали человека. Наш характер все в большей степени стал формироваться под влиянием нашей культуры, прочитанных романов, просмотренных пьес, увиденных картин. Искусство стало предписывать нормы нашего поведения.

Однажды, гуляя по улицам Будапешта, я набрел на лавку, которая называлась кондитерской-автоматом: можно было бросить в щель большого железного ящика монету в один крейцар — и из специального отверстия выскакивала конфета. Внутри автомата сидел человек, который собирал опущенные в ящик крейцары и незаметно давал в обмен конфету. Этот человек подсознательно понял, что люди больше доверяют машинам, чем друг другу, и весьма хитроумно решил притвориться машиной.

Люди дожили до того, что человек стал цениться дешевле, нежели его сконструированная копия. Помню, как я возмущался перед самым прилетом в Фа-ре-ми-до, когда варвары немцы обстреляли знаменитый Реймский собор. В то время я лишь мельком подумал о том, сколько людей пало жертвой реймского сражения! Да что там говорить — все мы на себе испытали, что сообщение о захвате у врага одного-двух кораблей или пяти-шести пушек приносило

несравненно больше радости, чем сводка об уничтожении пяти-шести тысяч вражеских солдат. Следовательно, пять пушек значат для нас больше, чем пять тысяч человек, и наш противник придерживается точно таких же взглядов.

Если бы я раньше удосужился трезво взвесить все эти обстоятельства, мне не пришлось бы на своем горьком опыте учиться всему этому в Фа-ре-ми-до. Я бы давно понял, что человек всегда больше себя ценит создание рук своих и в каждом своем творении стремится воссоздать самого себя в более совершенном виде, чтобы раствориться в созданном, подобно тому как это происходит с глиняной формой, в которую вливают кипящий металл. Я должен был понять это уже тогда, когда изобрели синематограф и когда люди с большим удовольствием стали ходить в кино, где они видели спроецированные на экран изображения тех артистов, которых за те же деньги могли бы увидеть воочию на устаревших подмостках театра. Поистине человек, как часть и как целое, как индивидуум и как мир целиком, всегда стремился открыть нечто совершеннее самого себя: для этой цели ему потребовались микроскоп и телескоп, фотография и рентгеновские лучи, автомобиль и аэроплан.

Да, если бы к этому трезвому выводу я пришел раньше, то снискал бы в глазах жителей Фа-ре-ми-до большее уважение к своей горячо любимой отчизне. Они убедились бы, что изумление, вызванное сверкающим дворцом, который предстал передо мной в конце лесной дороги во всем своем великолепии, что это изумление доказывает лишь одно: при всем несовершенстве человеческой природы я все же достоин этого чуда, достоин того, чтобы жить среди них и, быть может, когда-нибудь стать похожим на них. Но я, ошарашенный и поглупевший от всего увиденного, долго упорствовал в своем заблуждении, считая, что подобное чудо могли сотворить лишь человеческие руки.

Я стоял на опушке леса и, пораженный, смотрел окрест; тогда один из тех аппаратов, что стояли у дворца, взмахнул крыльями и легко подлетел ко мне. Я узнал в нем тот самый аппарат, что доставил меня в этот край, и услышал тот же мелодичный звон.

И вот еще несколько аппаратов подлетели ко мне и встали рядом. Они окружили меня, и я услышал настоящий концерт, оркестрантами которого были... машины. Я растерялся, я никак не мог поверить, что нигде не видно человека из крови и плоти.

Однако вскоре природа начала предъявлять свои права — я почувствовал голод и усталость. В надежде быть понятым, я обратился к машинам на разных языках, взывая к их милосердию и пониманию. Но поскольку ответом мне была лишь музыка, я снова стал внимательно прислушиваться к ней и, различив среди многих аккордов несколько повторяющихся нот, попытался их воспроизвести. К моему удивлению, вокруг сразу же воцарилась настроженная тишина, а затем мои незнакомцы, наклоняясь друг к другу и жестикулируя металлическими конечностями, стали, казалось, о чем-то совещаться.

Беспокойно поглядывая на них, я заметил, что они все не однотипны: у одних были крылья, у других они отсутствовали, встречались среди них квадратноголовые и круглоголовые, да и металл, из которого были сделаны аппараты, был разного качества. Все они походили друг на друга только по конструкции туловища, другими словами, по осанке да еще по той тонкой, сложной и необыкновенно точной работе механизмов, которая всех их объединяла.

Пока я над этим размышлял, ко мне протянулась металлическая рука и подняла меня в воздух; я увидел над собой гигантскую линау, через которую меня внимательно и углубленно рассматривал огромный сверкающий зрак.

Рука медленно поворачивала меня в воздухе, заставляя сгибаться и наклонять голову.

Мне было не по себе, казалось, будто меня изучают точно насекомое, которое натуралист рассматривает под лупой, прежде чем поместить в свою коллекцию.

Но вот меня снова опустили на землю. Крылатый аппарат, доставивший меня в Фа-ре-ми-до, схватил меня за руку и повел за собой; все это выглядело так, словно отец учит ходить маленького сынишку. Мой знакомец медленно и осторожно шагал со мной рядом, на неровностях тропинки он чуть подбирал ролики, легко перескакивал через препятствие, а там, где дорога была гладкой, тихо и плавно катился по земле. Он то и дело поворачивал ко мне свою золоченую круглую голову, и из сверкающих глаз на меня лился голубой свет.

Потом он запел, и у меня не было никакого сомнения, что музыка обращена ко мне — он со мной говорил, складывая из звуков слова. Поняв это, я постарался довести до его сведения, что и сам хочу выучить незнакомый мне язык. Указав на дворец, я спросил, как он называется. Мой проводник мгновенно понял, что я хочу: он отчетливо, с расстановкой произнес несколько звуков — ми-фа-ре, которые я тут же повторил. Радость его была очевидной, и он принялся показывать мне различные предметы, сопровождая каждый предмет его названием. Я повторял за ним.

Ткнув себя в грудь, он пропел: соль-ля-си. Потом, широким жестом указав на лежащий перед нами край, смуцицировал: фа-ре-ми-до, то есть повторил ту самую музыкальную фразу, которую я слышал от него в первый раз, когда мы спустились к реке. И тут я понял, что страна, в которую я попал, называется Фа-ре-ми-до. (Прошу читателя произносить эти слова нараспев — только тогда они будут иметь оригинальный смысл.)

Наконец мы добрались до аллеи, по которой я проходил раньше, до аллеи человекоподобных деревьев. У одного из них мой вожатый остановился, деликатно взял меня за пояс и поставил рядом с деревом. Сам он отступил на несколько шагов назад и приставил металлическую руку козырьком ко лбу — я понял, что он изучает и сравнивает нас. И вновь меня охватило тревожное чувство, будто меня исследует ботаник, пытаясь определить сходство двух растений, одно из которых ему хорошо знакомо, а другое — еще нет.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Взгляды на мир. — Автор начинает догадываться, среди каких существ он оказался. — Соль-ля-си. — Несколько слов о фабрике соль-ля-си.

Все, о чем я до сих пор пытался поведать читателю, сам я понял и осознал лишь спустя много дней и недель пребывания на Фа-ре-ми-до. Тогда же, когда я стоял у похожего на человека дерева и чувствовал, как чудесный механизм, являющийся одним из граждан страны Фа-ре-ми-до, сравнивает меня с представителем растительного мира, мне было не до шуток. У меня мурашки забегали по коже, стоило мне только вообразить возможные варианты того, что с трудом представляешь себе даже во сне.

Необыкновенные путешествия, которые и прежде часто сталкивали меня с фактами, приводившими в смятение мои чувства, приучили меня, с одной стороны, хранить верность общему мировоззрению, сформированному выдающимися философами, социологами и прежде всего естествоиспытателями моей горячо любимой отчизны, а с другой — не игнорировать действительность, никоим образом не укладывающуюся в эту мировоззренческую схему мира. Я твердо усвоил, что теоретические выкладки настоящего ученого не могут потерпеть ущерба от таких мелочей, как еще встречающиеся в жизни факты или явления, в корне противоречащие выдвинутой теории.

Итак, стараясь придерживаться своего прежнего взгляда на мир, я тем не менее вынужден был принять к сведению, что судьба забросила меня в такую страну или часть света, а быть может, и на такое небесное тело, существа

или жители которого не только не похожи на людей, но и вообще с точки зрения землян не могут называться живыми существами, ибо хотя они и двигаются самостоятельно, хотя и действуют вполне разумно и целесообразно, хотя и связаны, очевидно, определенными общественными отношениями, тем не менее нет в них ни частицы той материи, которая, на наш взгляд, является единственно возможной носителем и условием всякой жизни, той материи, которую мы в обиходе называем органическим веществом.

Жители Фа-ре-ми-до, или, как они сами себя окрестили, соль-ля-си, сформированы из неорганических веществ, таких, как железо, золото и многочисленные иные металлы, а также из элементов, которые не значатся в нашей периодической системе. Тот факт, что неодухотворенная материя обладает способностью двигаться и действовать, навел меня на мысль, что и в неорганической природе мы также можем наблюдать известное движение, только не столь ярко выраженное и не столь гармонично организованное — достаточно вспомнить, например, растяжение металла при нагреве или притягивание неорганических веществ друг к другу в результате явлений магнетизма: ведь все это вызывает определенное движение в неорганической природе. Поначалу я лишь смутно догадывался, а затем догадка переросла в убеждение: жизнедеятельность соль-ля-си вызвана и управляется такими всем нам известными силами природы, как свет, тепло, электричество, магнетизм.

Ту прекрасную и таинственную, сложнейшую и невидимую силу, которую мы с благоговением называем витализмом, ферментом жизни и которая проникает в ядро органических клеток и умножает их, соль-ля-си либо вообще не признают, либо признают, но по странной причине не нуждаются в ней. Более того, как я потом узнал, они считают

эти силы противоестественной, менее высокоорганизованной и в известном смысле патологической формой существования. По их мнению, силы (по убеждению виталистов), будто бы стоящие над живой материей, не способны сделать счастливой, гармоничной и разумной душу, которая, на их взгляд, является не чем иным, как сгустком материальных сил природы, и призвана понять и по возможности усовершенствовать мир (мы, люди, называем ее человеческим духом или разумом).

Орган мышления соль-ля-си — их мозг — состоит из неживой материи: это счастливо найденный синтез жидкого, типа ртути, металла с каким-то одно- или двухвалентным элементом. В таком мозговом центре любая реакция, которую мы уподобили бы мысли или чувству, управляется не особыми, сверхъестественными силами и принципами, а вполне материальными и легко контролируемыми факторами, например светом или электричеством. Являются ли эти мысли и чувства менее коммуникабельными, чем наши, я со своими ограниченными познаниями установить не берусь. Убедился я со временем только в одном: они по существу мало чем отличаются от продуктов нашего мышления, с той лишь оговоркой, что являются, пожалуй, неизмеримо более высокими и интенсивными, чему вряд ли следует удивляться. Ведь и нам на Земле известно, что механизмы, сконструированные из неживой материи, гораздо эффективнее человеческой или любой иной тягловой силы. Образование представлений, ассоциативная способность у соль-ля-си значительно выше, быстрее и точнее, чем у нас; что же касается их импульсивности, то характерно, что для выражения самых простых, элементарных понятий они используют средство, к которому мы, земляне, прибегаем лишь в исключительных случаях, когда хотим выразить свои самые возвышенные и сложные чувства, то есть музыку. Уже одно это свидетельствует, что

мысль и чувства у соль-ля-си не столь разграничены, как в нашей, человеческой практике.

Вряд ли читатель удивится, что первой моей мыслью после всех этих размышлений была мысль о том, как же появляются на свет подобные существа — ведь форма размножения, принятая у нас, в их неорганической жизни, как вы сами понимаете, совершенно исключается. Очень скоро я получил ответ на мучивший меня вопрос. Тот самый соль-ля-си, который поставил меня рядом с человекообразным деревом, заметно удивился моей способности звукоподражания. Он махнул рукой — я, пожалуй, буду и впредь употреблять это слово, — давай понять, чтобы я попевал за ним.

Я пошел с ним рядом и на ходу заметил, что мой спутник упорно пытается соразмерить свой шаг с моим жалким ковылянием. Со стороны это выглядело, должно быть, так, словно не человек управляет автомобилем, а автомобиль — человеком. Вскоре мы подошли к воротам здания, которое ранее уже поразило меня своим великолепием. Над воротами я увидел какие-то знаки или буквы, написанные золотом. Впоследствии мне удалось выяснить, что на языке здешних жителей эти знаки означали понятие «соль-ля-си-ми-ре» — соответствующий перевод был бы примерно такой: «завод соль-ля-си», или, если угодно, «мастерская соль-ля-си».

Переступив овальный порог, я услышал характерный гул и вибрацию. Эти звуки усилились на мраморной балюстраде, которую мы миновали. Перед нами сами собой распахнулись эластичные прозрачные двери, и нашему взору предстал гигантский зал, утопающий в ослепительном солнечном свете. Я занял бы слишком много времени, если бы решился описать то неизъяснимое восторженно-растерянное чувство, которое охватило меня в этом зале. Пожалуй, в чертеже или в рисунке я сумел бы лучше пе-

редать увиденное. Вдоль стен параллельными рядами тянулись длинные мраморные столы, сплошь уставленные бесчисленными фантастическими инструментами и приборами. Здесь были перегонные кубы, реторты, колбы и колбочки, стекло и металл, паяльные трубки, винты и болты, подъемные приспособления, рычаги и домкраты, весы и безмены, различные ванночки, вакуумные установки и термокамеры, гальваноскопы и гальванометры, лампы и патрубки, трансформаторы и аккумуляторы, конденсаторы и изоляторы, волочильные аппараты, токарные, шлифовальные и револьверные станки, шестеренки и подшипники, самодвижущиеся пинцеты, дрели...

Большая часть всех этих предметов находилась в постоянном движении, объединенная единым ритмом, питаемая невидимой и неслышно поступающей энергией от дисков под потолком, которые кружились и вертелись с такой умопомрачительной скоростью, что, кроме сверкания, ничего нельзя было разглядеть. С шипением мчались сверху и снизу приводные ремни и тросы, дрожали от напряжения стальные провода, неслись центрифуги, а по краю столов бежала, огибая каждую извилину, конвейерная лента. То здесь, то там вспыхивали красные, фиолетовые или голубые огоньки. Густая тягучая жидкость по стеклянным желобам, а кое-где прямо так, свободно, стекала в большие резервуары.

В первую минуту я не заметил, что в этом кажущемся хаосе работают соль-ля-си: ведь, собственно говоря, структура этих существ не отличалась от устройства самих машин и инструментов. Когда же я несколько освоился с окружающей обстановкой, то увидел, что у мраморных столов, на равном расстоянии друг от друга, стоят соль-ля-си, погруженные в свою работу. Я их узнал по овалу головы и по двум линзам-зрачкам, сверкавшим на лбу. Их руки-щупальца тянулись от туловища к столам, поправляя

и складывая какие-то части и детали, сращивая и сваривая электросваркой отдельные звенья единой цепи. Больше всего они походили на часовщиков за работой.

Мой проводник подошел к ближайшему соль-ля-си, тот на время оставил свое занятие и они что-то пропели друг другу, все время поглядывая в мою сторону. Я понял, что речь идет обо мне. В смущении (причина которого мне и самому непонятна) я отвел глаза в сторону и принялся рассматривать лежащие на столе предметы.

Там лежало множество вогнутых и выпуклых линз; в отдельной стеклянной ванне была какая-то прозрачная клейкая жидкость. На краю находился аппарат уже в собранном виде; присмотревшись к нему, я с удивлением обнаружил что он, по крайней мере в общих чертах, не так уж мне незнаком. Он чрезвычайно напоминал миниатюрный, исключительно тонко сделанный фотоаппарат, только в отличие от него имел форму шара с тремя стальными усами-антеннами, свисавшими книзу; спереди находилась выпуклая линза, за которой размещалась шаровидная камера. Совершенно очевидно, что и назначение аппарата было такое же, что и на Земле, — они различались в основном только по виду: этот напоминал непомерно увеличенное глазное яблоко. Правда, я тут же подумал, что в этом, собственно говоря, нет ничего странного: всем нам известно, что фотоаппарат, по сути дела, не что иное, как реконструированный глаз человека, да и действие его такое же, с той лишь разницей, что если человеческий глаз нельзя усовершенствовать, то аппарат можно сконструировать таким образом, чтобы он в сотни раз острее и быстрее репродуцировал световые изображения. Вспомним хотя бы кинокамеру, которая неизмеримо лучше и точнее схватывает движение, чем наш глаз.

Беглого взгляда на работающего соль-ля-си было достаточно, чтобы убедиться, что он занят производством се-

бе подобных: он производил операцию по сборке таких же глаз, которыми пользовался сам. Теперь мне стало ясно, как появляются на свет эти удивительные существа или механизмы: они производят себе подобных из металлов, минералов и других материалов, а источники питания, размещенные в их телах, приводят собранные механизмы в движение.

На первый взгляд подобный метод размножения кажется весьма трудоемким и сложным, но следует признать, что с точки зрения результатов он представляется более надежным и эффективным, чем наш способ. Соль-ля-си, создающий или конструирующий себе подобного (ребенком я назвать его не могу, учитывая, что соль-ля-си — однополюсные существа и производят на свет маленьких соль-ля-си, объединившись не в пары, а в группу из шести-семи... чуть было не сказал «человек»). Словом, соль-ля-си-производитель имеет полную возможность тщательно проконтролировать каждое звено «деторождающего» конвейера на предмет его целесообразности и выпускает продукт в свет без малейших дефектов и изъянов. Он может заменить материалы, которые по каким-либо причинам мешают производству, может также идеально отрегулировать механизм, приводящий в движение все составные части конвейера. Вот почему среди соль-ля-си не встречается уродов, калек, немых и вообще дефективных. Правда, это объясняется еще и другим обстоятельством, на котором я особо остановлюсь ниже, но сейчас попутно отмечу, что любая деталь уже действующих соль-ля-си в случае поломки или износа может быть в любой момент заменена и восполнена без всякого ущерба для гармонично функционирующего индивидуума.

Об этом я подробнее расскажу позже, когда речь пойдет о различии между людьми и жителями Фа-ре-ми-до в отношении к проблемам рождения, жизни и смерти.

Считаю также преждевременным рассказывать о том, сколько видов рабочих операций по производству соль-ля-си мне удалось увидеть за то время, пока я продвигался вдоль длинных монтажных столов, ибо не только назначение, но даже конструкция большинства органов будущего соль-ля-си были недоступны тогдашним моим знаниям. Замечу лишь, что в конце зала на круглом стенде я увидел уже полностью собранного неподвижно стоявшего соль-ля-си. Вокруг него сновали рабочие и, казалось, наладывали тот самый механизм, который на нашем земном языке называется мотором: в какой-то патрубок заливали жидкость и все время снизу что-то подкручивали. Уходя, я услышал, как внутри «новорожденного» зазвучала музыка, и, оглянувшись, увидел, что он медленно поднял голову и стал озираться вокруг.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Автор учится языку соль-ля-си. — Небольшое отступление о моем физическом и внутреннем самочувствии. — Наука о познании. — Больные соль-ля-си. — Несколько слов о «музыке сфер».

Слишком утомительно было бы в хронологическом порядке излагать во всех подробностях историю тех нескольких месяцев, которые истекли с момента моего прибытия в Фа-ре-ми-до и до того дня, когда я, правда весьма коряво и с запинками, научился кое-как объясняться на языке соль-ля-си и понимать смысл того, о чем они говорили. Строго говоря, обучение языку длилось дольше, чем я полагал: на мой мозг обрушилось такое количество новых впечатлений и с такой стремительностью, что я потерял счет времени и совсем забыл, что время здесь измеряется иначе. (Сутки в Фа-ре-ми-до в два-три раза длиннее, чем на Земле.)

С другой стороны, обилие впечатлений так захватило меня, что поначалу я очень смутно понимал, что происходит лично со мной как с индивидуумом; в памяти запечатлелись уроки, полученные от столкновения со здешней действительностью, и стерлось все, что касалось моего физического самочувствия. Я испытал на себе, что разум, который по нашему убеждению, призван познавать мир, обнаруживает свою высшую способность в те моменты, когда забывает о самом себе, чтобы впитать и систематизировать представления о внешнем мире.

Со своим гостеприимным хозяином, которого звали Ми-до-ре, я впоследствии немало рассуждал об этом свойстве разума. Однако, как ни пытался я объяснить ему со

всем усердием, что мы, люди, понимаем под понятием «человеческий мозг», он был не в состоянии это уразуметь. «Немыслимо, — говорил он, — чтобы инструмент, созданный из тех же бранных материалов, что и ваше тело (так он называл нашу плоть и кровь, не имеющих слов-соответствий на языке соль-ля-си), был бы способен выполнять работу мозга, то есть постигать взаимосвязь вещей».

Когда я с грехом пополам объяснил ему его заблуждение, приводя высказывания наших мыслителей, которые доказали, что цель человеческого разума — познание мира, Ми-до-ре только недоверчиво покачал головой и удивился их способности доказать недоказуемое.

С радостью ухватился я за повод, позволивший мне вдали от родной Земли воздать хвалу всему человеческому роду, и прежде всего великим людям моего горячо любимого отечества. Я тут же назвал ему имена четырех или даже пяти выдающихся философов и кратко изложил содержание их основных трудов. Я рассказал о том многообещающем подъеме, который испытывает ныне наука, занимающаяся законами человеческого разума и устанавливающая систему и основу мышления, поведал о великих естествоиспытателях, исследующих функции наших органов и влияние внешней среды на сознание человека. Упомянул я и тех, кто рассматривает человеческий мозг как чисто материальный, функциональный орган, и тех, кто предполагает, что одной материальной силой нельзя объяснить познавательный процесс. Я процитировал высказывания некоторых великих философов: одни из них строили свои концепции о чувстве и мысли на основе математических формул, другие же объясняли их исходя из метафизической символики. Коротко обрисовал я своему собеседнику и нынешнее состояние нашей философии, торжественно заключив при этом, что мы очень близки к

тому времени, когда будем знать, что же следует понимать под духовной жизнью.

Ми-до-ре вежливо выслушал меня до конца, а потом заметил, что я ответил на все вопросы, за исключением того, который он задал. Ведь с точки зрения достижения цели совершенно безразлично, какими средствами или инструментами пользоваться. Предположим, специалист берет в руки какой-то инструмент — он осматривает его не с точки зрения того, для чего он служит (это первое, что надо знать как само собой разумеющееся условие любой работы — в противном случае никакого интереса к инструменту не испытаешь), — инструмент специалист проверяет для того, чтобы установить, нет ли в нем каких-нибудь неисправностей, можно ли им пользоваться.

Ми-до-ре спросил, можем ли мы использовать мозг по назначению, я же долго и вдохновенно объяснял, что мы знаем инструмент и можем даже полностью его разобрать. Из моих слов он заключил, что на протяжении веков мы не занимаемся ничем иным, как только разбираем и вновь собираем свой мыслительный аппарат, и наши величайшие мыслители, которых я перечислил, выполняют примитивнейшую работу, которую у них способен сделать самый простой токарь.

«Я, — сказал Ми-до-ре, — спросил, как вы, люди, используете свой разум, о чем размышляете? Из твоего же ответа явствовало, что вы постоянно задаетесь вопросом: «Что такое разум?», и ломаете себе голову, над чем бы еще поломать себе голову». Ибо, если он правильно меня понял, именно это я и хочу доказать своими объяснениями по поводу философии.

Правда, ничего странного он в этом не усматривает — подобная болезнь встречается и у жителей Фа-ре-ми-до. На заводе по производству соль-ля-си, например, пришлось открыть специальный реставрационный цех: кри-

стально чистый и идеально подобранный химический состав, служащий (как мы бы сказали) мозгом соль-ля-сп, тоже подвержен порче. Я сам наблюдал, как то там, то здесь встречались продукты распада или полураспада материи — я привык называть их органической смесью, — они обладают злокачественной силой и каким-то образом проникают в черепную коробку соль-ля-си, отравляя орган мышления. В таких случаях на золоченом куполе проступает густая черная слизь, затмевающая кристальную чистоту глазных линз и препятствующая проникновению в мозг внешних лучей. Неправильно преломляясь в слизистых злокачественных новообразованиях, лучи искажают истинную картину вещей и вызывают ложные понятия о мире.

Больного соль-ля-си можно узнать по устремленным в себя вогнутым глазам-линзам; из его путаных, экзальтированных рассуждений легко понять, что вместо внешнего мира он наблюдает лишь за собственным мозгом и, следовательно, может говорить лишь о примитивном и малозначащем самом по себе инструменте, который имеет ценность, только будучи употребленным в дело. Больной соль-ля-си, возмнивший себя целым миром, делает всякие вздорные, сумбурные и смехотворные заявления; он, например, доказывает, что небо усеяно зелеными крапинками, что пространство есть не что иное, как время, что в материи есть сила, а в силе материи нет. Для него жизненную важность приобретает вопрос, в самом ли деле я хочу того, чего хочу, или же этого хочет природа; можно ли хотеть свободно или можно хотеть, чтобы человек не хотел; знаю ли я о том, о чем думаю, или думаю ли я о том, что знаю; я ли родил сознание или меня родило сознание, которое существовало еще тогда, когда меня не существовало; существует ли нематериальная сила и можно ли представить себе нематериальную интеллектуальную эли-

ту; думаем ли мы в образах или образно думаем и т. д. и т. п.

Любопытно, что при подобном заболевании у соль-ля-си выходят из строя в первую очередь голосовые связки и вместо чистых и приятных для слуха мелодий из их горла вырываются скрежещущие, шипящие звуки, между прочим, очень напоминающие человеческую речь. Ми-до-ре однажды специально исследовал больного соль-ля-си и, обнаружив у него нарушение артикуляции, пришел к заключению, что если набить рот дробью и мелкими камешками и попытаться говорить, то эффект получится тот же. Рассказывая об этом Ми-до-ре попробовал воспроизвести этот искаженный шум и, к моему величайшему изумлению, достаточно внятно произнес два знакомых мне слова, а именно «история» и «материализм».

Ми-до-ре рассказал, что причина этой болезни известна ему давно и, более того, он знает простое средство, ее излечения: на заводе соль-ля-си у больных выливают мозговую жидкость и обрабатывают ее особыми реагентами. При этом элементы, подвергшиеся распаду, восстанавливаются и глаз вновь получает исходную чистоту. Если же мозговая жидкость заражена очень сильно, ее просто заменяют свежей.

— Все это, — закончил свой рассказ Ми-до-ре, — я рассказал только для того, чтобы доказать, насколько я понял твою информацию. Подобные умозамешательства вполне могут стать. И ничего странного в этом нет. Меня поражает только то, что ты назвал величайшими мыслителями человечества именно тех индивидуумов, которые помешаны на самих себе. Я допускаю, что человеческий разум, который является делом рук неизвестного нам механика, находится еще в примитивном, зачаточном состоянии и, если я правильно понял, потребуются долгие годы, прежде чем он достигнет той стадии развития, на которой

можно будет использовать его по назначению. В силу этой особенности разум человека неизбежно проходит те эволюционные ступени, когда, будучи сам несовершенным, он порождает несовершенные продукты и идеи. Как относиться к твоему утверждению, будто человек тоже стремится к познанию внешнего мира? Я бы уподобил человеческий мозг необработанному стеклу, из которого пытаются сделать увеличительную линзу. Чтобы достичь этого, стекло необходимо до тех пор шлифовать особой жидкостью, пока оно не станет идеально прозрачным и через него отчетливо можно будет разглядеть нужный предмет. Вы же, люди, поступаете как раз наоборот — примешиваете в сырье столько муты, столько туманного «самопознания» и «самосознания», что стекло становится абсолютно непроницаемым, невосприимчивым к свету. И все это происходит от вашей ложной боязни, что кристально чистый мозг, пропуская через себя лучи, сам станет невидимым, как невидимо чистое стекло. Разве не ясно, что страх этот совершенно беспочвен, ибо ценность увеличительного стекла измеряется именно тем, насколько ясным и неискаженным оно позволяет видеть внешний мир?

Еще до всех этих разговоров Ми-до-ре как-то спросил меня, каким образом мне, землянину, удалось изучить их язык. Пришлось рассказать, что музыка как таковая известна и нам, но мы никогда не помышляли с ее помощью выражать конкретные понятия. На вопрос о том, в каких целях и как используют музыку люди, я пояснил, что она служит у нас для выражения чувств, и пустился в долгие рассуждения о разнице между эмоциями и мыслью.

Он очень удивился этому обстоятельству, ибо у солья-си чувства и мысль неделимы. Ми-до-ре никак не мог понять, почему за выраженным чувством мы не видим мысли, которая это чувство вызывает, и наоборот. Я рассказал, что иногда мы тоже соединяем в одно целое эти

две вещи, выражая свои мысли через чувство, как, например, в песнях, где слова положены на музыку и, таким образом, мысль сливается с мелодией. Он несказанно удивился этому примеру.

— Как можно, — воскликнул он, — ясное и совершенное слово музыки сделать более понятным, сопроводив его артикуляционными шумами человеческой речи, которая, несомненно, только затрудняет понимание музыки?

Когда же я заметил, между прочим, что и у нас находились люди, которые считали музыку как таковую источником информации, Ми-до-ре высказал мысль, что они были не так уж далеки от истины и, видимо, догадывались о существовании Фа-ре-ми-до. Быть может, до их слуха даже донеслись несколько слов, громко произнесенных его соотечественниками. Я готов был решительно опровергнуть эту фантастическую гипотезу, как внезапно меня осенила мысль о существовании пресловутой «музыкальной сферы», которую многократно высмеивали и отвергали. Между тем о «музыке сфер» мечтатели-астрономы говорили еще в средние века; вспомнив об этом, я решил промолчать.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Автор узнает, как он очутился в Фа-ре-ми-до. — «До-си-ре», или болезнь мира. — Автор негодует от имени всего человечества.

Первое, о чем я справился у радушного Ми-до-ре, когда мало-мальски усвоил сольлясийский язык, естественно, было: какому счастливому обстоятельству я обязан, что попал в Фа-ре-ми-до, как я спасся, как вообще сумели обнаружить меня во Вселенной?

Ми-до-ре рассказал, что, получая заряд от космических лучей через бронхи (так я впредь буду называть мотор, размещенный в верхней части туловища соль-ля-си), он и его соотечественники совершают регулярные путешествия по пространству в поисках новых чистых и широких гармоний. На своем пути они соприкасаются с атмосферой других планет и звездных систем. Однажды его друг Си-до, очутившись в атмосфере планеты Ля-соль-ми (так на местном наречии зовется Земля), с удивлением обнаружил плывущий в небе аппарат, весьма напоминающий разумное существо. Этот аппарат находился в таких высотах, куда, по имевшимся у них сведениям о планете Ля-соль-ми, еще никто никогда не поднимался. Си-до окликнул незнакомца, но тот не ответил. Тогда Си-до приблизился к загадочному аппарату и заметил в нем двух до-си-ре: один из них был недвижим и потому асептичен, другой же еще проявлял признаки жизни. Заинтригованный его необычным видом, Си-до вытащил его из аппарата и доставил в Фа-ре-ми-до, чтобы подвергнуть микроскопическому анализу. Этим до-си-ре и оказался я, в котором соль-ля-си после углубленного исследования нашли

своеобразные черты мыслящего существа. Они назвали меня феноменом фа-ми-до-си-ре и решили сохранить для дальнейших опытов по изучению живой, или разумной, болезни.

С величайшим изумлением выслушав эту информацию, я почтительно спросил своего хозяина, что он понимает под словом «до-си-ре» и в какой степени верит, что я принадлежу именно к ним, другими словами, откуда известно о существовании мне подобных, особенно если учесть, что между мной и соль-ля-си имеются столь разительные отличия; кроме того, я осведомился, что он понимает под словом «асептичен», ибо, если я правильно понял, Си-до по ошибке принял гидроплан за разумное существо, а меня, сидящего в кабине, за нечто особое.

Ми-до-ре ответил, что они уже давно и весьма обстоятельно знают Ля-соль-ми, то есть Землю. С помощью телескопов соль-ля-си на протяжении многих лет пристально наблюдают за ее поверхностью, и вряд ли есть что-либо ускользнувшее от их внимания. (Следует признать, что в этом мой хозяин был, безусловно, прав: несколько позже мне показали один из таких телескопов, направленных на земной шар под различными углами, и я с полной ответственностью могу заявить, что через этот прибор я мог отчетливо разглядеть не только отдельные дома на нашей планете, но даже людей, занятых повседневными делами.)

Словом, жители Фа-ре-ми-до установили, что на Ля-соль-ми нет разумных существ в их понимании. И это тем более поразительно, что благодаря спектральному анализу соль-ля-си обнаружили там некоторые элементы, в частности железо, золото, ртуть и многие другие, которые напоминали живую матерью, какой ее принято считать в Фа-ре-ми-до. В то же самое время им удалось увидеть на Земле множество движущихся, а потому опасных, «зараз-

ных» до-си-ре различной формы и вида. Была даже высказана гипотеза, что эти септичные до-си-ре и явились своеобразными бациллоносителями, уничтожившими жизненную среду для земных соль-ля-си. Эта гипотеза казалась тем более вероятной, что всюду, где только соль-ля-си наблюдали следы разумной материи, то есть объекты из железа или стали, приводимые в движение электричеством или паром, они неизбежно обнаруживали вокруг этих объектов либо внутри них бесчисленный рой до-си-ре, или, как их здесь иначе называют, паразитов.

На мой вопрос о причине, по которой меня также относят к до-си-ре, Ми-до-ре, улыбнувшись, сослался на те причудливые деревья, которые поразили меня еще в день прибытия в Фа-ре-ми-до и которые я про себя назвал «человекообразными». Он рассказал, что эти деревья, представляющие собой разновидность до-си-ре, с незапамятных времен паразитируют на весьма благодатной и в целом здоровой почве Фа-ре-ми-до — они отравляют необходимые для производства соль-ля-си простые и чистые элементы материи. Деревья являют собой особое соединение, природу которого химики Фа-ре-ми-до до сих пор полностью не разгадали, за исключением лишь того, что она злокачественна. Там, где появляется до-си-ре, происходит распад материи, сопровождаемый выделением дурно пахнущих жидкостей и образованием бесформенных зудящих опухолей. Под словом «до-си-ре» в Фа-ре-ми-до понимается вообще все ядовитое, заразное, паразитирующее. Достаточно такому существу попасть в среду соль-ля-си, как там вспыхивают беспорядки и болезни; еще хорошо, что они легко поддаются изоляции и уничтожению специальной кислотой.

Ми-до-ре уверял, что до-си-ре состоят из саморазлагающейся материи и олицетворяют собой как бы «абсолютную болезнь», которая разъедает и разрушает самое

себя теми ядовитыми веществами, которые она же производит и расщепляет. Когда я, Гулливер, оказался на Фарми-до, меня первым делом подвергли тщательному осмотру под микроскопом, гораздо более тщательному, чем тогда, когда я жил на Земле, где меня ловили лишь в телескоп. Диагноз, к сожалению, был малоутешительным: по сути дела, я оказался таким же до-си-ре, бесчисленное множество которых роится на Земле и порой попадает в фаремидосийскую почву.

Короче говоря, здешние ученые установили мое место в шкале болезнетворных бактерий, и Си-до, которому я непосредственно обязан своим спасением, окрестил меня ре-ми-соль-ля-ми — си-до-ре, что в вольном переводе с языка соль-ля-си означает «человекоподобная бацилла». Это практически означало, что, будучи паразитом по своей природе, я несу в себе, однако, зародыш способности принимать вид и свойства неживой материи, дабы оказаться с ней в близком контакте. Подобный экземпляр «живого» способен даже издавать звуки и вырабатывать в своей шаровидной голове некую материю — мысль, в общих чертах похожую на продукт духовной жизни соль-ля-си. Причиной того, что, несмотря на это сходство, я все же являюсь типичным до-си-ре, подобно своим собратьям, послужило то обстоятельство, что в химическом составе моего организма не содержится объективных ценностей, какими являются элементы периодической системы. В силу этого я неизбежно принадлежу к болезнетворным, иначе выражаясь, смертоносным существам (любопытно, что на языке соль-ля-си эти два понятия равнозначны) и являюсь, по сути дела, самоуничтожающимся тленом. Справедливость подобных представлений о моей природе я повседневно доказывал своим собственным поведением: соль-ля-си замечали, что в известную часть суток я проявлял беспокойство и принимался лихорадочно искать местных,

фаремидосийских до-си-ре, жадно срывал с их ветвей отвратительные опухоли (понимай — зрелые плоды) и беспрерывно их поглощал. Разве это не свидетельствует со всей неоспоримостью, что я принадлежу к разряду низших существ, которые поддерживают свое брренное и быстротечное существование тем, что поедают родственные себе организмы, для того чтобы отдалить время, когда придется уступить место следующим поколениям?

С полным спокойствием, не повышая тона, я бы сказал даже весьма холодно, сообщил мне Ми-до-ре все эти факты. По странному стечению обстоятельств пропетые им слова, независимо от их смысла, слились в волшебную, бесподобную мелодию, которая завершилась на слове «генерация» (поколение), прозвучавшем как умирающий вдали аккорд. Завороженный, стоял я безмолвно, и душа моя словно замерла в каком-то сладостном восторге. Не сразу пришел я в себя от этого потрясения и только тогда — о ужас! — до моего сознания стал доходить смысл слов Ми-до-ре и все значение той невежественной и жестокой перцепции, которая определяла место всего человеческого рода, а следовательно, и граждан моего горячо любимого отечества во Вселенной.

Некоторое удовлетворение я получил лишь от того, что мне представился случай опровергнуть распространяемые о нас во Вселенной унижительные слухи и небылицы и вместе с тем провозгласить полнейший суверенитет человеческого рода среди всего живого. Что значат все эти механизмы, все эти винто-шарниро- и шкивообразные роботы и фонографы, преисполненный гордости рассуждал я про себя, по сравнению с величественной тайной человеческого бытия?

Попросив Ми-до-ре запастись терпением, я постарался разъяснить ему кое-какие вещи. Я попытожил все, что знал по данному вопросу: я начал с Адама и Евы, но, дер-

жа себя в рамках дозволенного, стремился избежать многословия и резюмировал лишь основные положения современного естествознания. Я рассказал о том, какой вымершей пустыней был наш земной шар, пока на нем не зародилась Жизнь; я обрисовал своему собеседнику доисторический ландшафт со сполохами остывающих вулканов, с кипящей лавой из расплавленных металлов и минералов, текущих под бронзовым пологом неба, с грибовидными облаками пепла над огнедышащей горой. Но проходит время, все успокаивается, край заливают голубые воды морей, и вот уже, приветливо улыбаясь, сняет с высоты благодатное солнце и на отмелях бескрайних вод что-то начинает шевелиться. Это «что-то» — не что иное, как новая форма существования: на Земле зарождается Жизнь.

На протяжении тысячелетий в сотнях сотен новых форм пытается проявить себя Жизнь: она то принимает вид рыбы, то обретает крылья, чтобы подняться в воздух; у нее то десять ног и множество ртов, то вдруг вытягивается шея, чтобы достать до верхушки пальм с плодами, то неожиданно вырастает острый бурав под ртом, чтобы добывать себе пищу из-под земли. Она, Жизнь, отращивает себе гигантское туловище, дабы произвести на свет как можно больше потомков, а то вдруг оттачивает клыки для самозащиты и пропитания.

Наконец, после длительнейших экспериментов она начинает задумываться над одной из форм — это четырехлапое морщинистое существо, под заросшими глазами впадинами которого беспокойно бегают круглые зрачки. В тыльной части черепа этого животного находится мозг — орган, приводящий в движение все его члены и управляющий всеми функциями, необходимыми для сохранения жизни нашего далекого предка — обезьяны: стоит на нее махнуть какому-нибудь чудовищу, как обезьяна тут же непроизвольно моргает.

Жизнь избирает это существо для своих дальнейших опытов с целью сделать из него нечто более совершенное. В первую очередь потребовалось усовершенствовать орган чувств, дабы превратить его из бессознательно-механического, рефлексивного в орган сознания и самопознания. Прошло еще каких-нибудь несколько тысячелетий, и вот результат: в черепной коробке начинает функционировать новый орган — орган сознания, который принимает сигналы внешнего и внутреннего мира и действует в соответствии с ними не безотчетно, как прежде, а в полную силу понимания и воли.

Итак, — о чудо! — перед нами Человек, венец природы. Жизнь в ее полном Сознании, познав всю радость существования и покорив себе стихийные силы материи, стремится к тому, чтобы сделать жизнь каждого индивидуума прекрасной и счастливой, чтобы каждый человек ликовал при виде голубого неба и восходящего солнца!

Ми-до-ре слушал меня со вниманием; я заметил, что его заинтересовала главным образом первая половина моей речи, хотя я-то в основном рассчитывал на эффект в конце. Предположив, что он не все правильно понял, я хотел было дополнить рассказ некоторыми подробностями, но Ми-до-ре отмахнулся, и из его слов я с удивлением обнаружил, что он полностью усвоил суть изложенного и за каких-то несколько минут получил полнейшую ясность в вопросе, для понимания которого нам, людям, потребовалось столько тысячелетий. Реакцию Ми-до-ре на мою речь я попытаюсь вкратце изложить в следующей главе.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Земной шар и соль-ля-си. — Большой мир. — Тревога Ми-до-ре за жизнь на Земле. — Сознание и интуиция — понятия-близнецы.

Уверенность и спокойное превосходство, с которыми Ми-до-ре отвечал на мой монолог об истории человечества, поразили меня лишь в самый первый момент. Вскоре я вынужден был признать, что эту историю, в ее внешних проявлениях, жители Фа-ре-ми-до знают столь же хорошо, как и я, и даже, как ни странно, еще лучше. Я попытаюсь резюмировать причины этой потрясающей осведомленности соль-ля-си о жизни на Земле, которая так поразила мое воображение.

Я уже упоминал, что в распоряжении соль-ля-си имеются такие увеличительные приборы, которые позволяют им на протяжении тысячелетий наблюдать — до мельчайших подробностей — за жизнью на нашей планете, подобно тому как мы в свою очередь исследуем под микроскопом каплю воды. Из слов Ми-до-ре я с изумлением понял, что жители Фа-ре-ми-до рассматривают нашу планету как обитель постоянно регрессирующих в своем развитии дегенеративных соль-ля-си, которые по природе своей, так же как и фаремидосийцы, принадлежат к неорганическим существам и имели изначальную возможность стать нормальными соль-ля-си, если бы шестьдесят тысяч лет назад не подверглись эпидемии страшной болезни, известной под названием до-си-фа-ре; рассадником ее являются паразитарные существа до-си-ре, или, на нашем языке, все живые организмы (в том числе и люди), которые в порядке исключения встречаются в рудиментарном

виде и на Фа-ре-ми-до. Бедных соль-ля-си Земли эти паразиты до-си-ре так подавили своей мощью и числом, что привели в полное расстройство, и процесс их высвобождения и возрождения затянулся на долгое время.

Лично он, Ми-до-ре, в своей нынешней композиции живущий в Фа-ре-ми-до свыше семидесяти тысяч лет, с самого начала пристально следил за происходящим на Земле процессом и видел, как зарождалась болезнь, как она прогрессировала. Поскольку, как он заметил, меня эта проблема интересует и, судя по моему рассказу, я даже имею некоторое, хотя и весьма смутное, представление об истории Земли, он готов поделиться своими наблюдениями, ибо тот факт, что я всего-навсего рядовой до-си-ре, сам по себе не исключает того, что я до некоторой степени могу понять определенные вещи — ведь удалось же в первые месяцы моего пребывания на Фа-ре-ми-до «приживить» кое-какие неорганические элементы в моем человеческом мозгу, в результате чего он (то есть мозг) стал значительно лучше и дело, кажется, пошло на поправку. Но это уже вопрос особый, касающийся эксперимента надо мной. Конечный результат будет виден лишь по прошествии определенного времени.

Ми-до-ре поведал мне о том, как вот уже более шестидесяти тысяч лет он наблюдает за земными соль-ля-си, ибо этот вопрос особенно волновал его и он давно подозревал, что на Земле не все в порядке. Итак, по его словам, первое время составные части Земли — суша, огонь и вода — развивались вполне нормально. Но однажды он с сожалением отметил, что в одной из долин закопошился рой совсем маленьких до-си-ре. (Когда я стал допытываться о месторасположении этой долины, Ми-до-ре довольно точно обрисовал географический пункт, который, как я понял из его слов, располагался между Тигром и Евфратом.)

Возможно, это объяснялось тем, что именно в этом районе Земли в то время ощущался недостаток тепловой и электрической энергии. (Известно, что и то и другое, равно как свет и звук, для соль-ля-си являются тем же, чем для нас кровь.) Злокачественная болезнь стремительно распространялась и постепенно поразила всю территорию, которую мы называем Азией, а Ми-до-ре назвал «животом Ля-соль-ми» (Земли). В те времена земные соль-ля-си были еще довольно сильными и здоровыми и потому с ними можно было общаться посредством звуковых сигналов. Они пожаловались Ми-до-ре на свою болезнь, и тот порекомендовал им облучить пораженные участки Земли тепловой энергией, ибо, как вскоре стало ясно обеим сторонам, до-си-ре влачили чрезвычайно жалкое существование и малейшее повышение температуры, до каких-нибудь восьмидесяти — ста градусов, вызывало их мгновенную гибель и истребление.

Но Земля не вняла этому совету, и болезнь, которую я называю Жизнью, все ширилась и росла. Любопытно, что однажды Ми-до-ре хотел было помочь страждущим и направил на Землю лучи из специально сконструированного для этой цели аппарата. Лучи вызвали из больного тела Земли кипящую жидкость, в которой погибли миллионы до-си-ре. Уже казалось, что они уничтожены полностью и бедная, больная Земля на пути к выздоровлению. Он, Ми-до-ре, весьма серьезно отнесся к этой проблеме и с помощью системы увеличительных стекол наблюдал за поведением до-си-ре, их природой и условиями жизни: только при этом условии, то есть досконально изучив среду, он мог рассчитывать на окончательное уничтожение всякого рода бациллоносителей. Когда из земных глубин вырвалась кипящая жидкая лава и, бурля, стала заливать сушу, до-си-ре в ужасе разбежались от нее во все стороны. Это произошло, вероятно, в тот исторический период, ко-

торый я назвал бы перподом Первобытного Человека, вернее Первобытной Обезьяны, другими словами, временем господства Животного Инстинкта.

При виде кипящей лавы, иронически пропел Ми-до-ре, эти древние люди повели себя чрезвычайно странно. Те, кто сумел избежать мгновенной смерти, бежали в открытое поле — он помнит это как сейчас — и там, плача и стелая, сбились в кучу. Перед его глазами до сих пор стоит картина, которую он наблюдал в телескоп: из кишевшего муравейника до-си-ре, которые судорожно глотали ртом воздух, отделился один сильно развитый экземпляр и бросился в сторону. Воздев свои клешни, или, если угодно, руки, над головой, до-си-ре стал показывать ими куда-то вверх, туда, откуда он, Ми-до-ре, излучал смертоносные лучи, одновременно наблюдая за Землей из телескопа. Да, да, он смотрел прямо ему, Ми-до-ре, в глаза и указывал на него остальным своим собратьям. Те тоже повернулись в его сторону и вдруг, как по команде, грохнулись оземь, продолжая воздевать руки к небу. Так, стоя на коленях, они что-то кричали ему. В этот момент земля под ними разверзлась, и все до-си-ре погибли в кипящей лаве. С тех пор Ми-до-ре часто являлся свидетелем этой интереснейшей особенности поведения до-си-ре: за несколько минут до своей гибели они внезапно поднимают свой взор вверх, туда, где живут соль-ля-си, будто ожидая спасения или помощи оттуда, откуда на них идет гибель.

Спустя некоторое время Ми-до-ре решил отказаться от попыток излечить Землю. Он пришел к выводу, что в этом нет никакой необходимости: до-си-ре, повторил он, будучи воплощением Абсолютной Волезна, уничтожали самих себя с помощью органа, размещенного обычно в головной части организма; я назвал бы его инстинктом. Следовательно, лучше было выждать, пока до-си-ре не распространятся по всей Земле и физически разовьются — вот

тогда-то, подсказывал опыт, животный инстинкт и свершит свое дело: до-си-ре нападут друг на друга, пожрут один другого, наступит пора опустошения, болезни убьют жизнь. Ми-до-ре понял, что до-си-ре поддерживают свою жизнь тем, что поедают друг друга в самых различных формах; поэтому их судьба предрешена, долго так продолжаться не может — любой организм обречен на умирание, если он получает для переработки необходимую для жизни энергию не извне, не от нетождественных ему миров, а изнутри, путем постоянного самопоглощения. Как без весел не сдвинуть лодку, так и житейский челн останется на месте, если не сыщется гребец, который опустит весла во внешнюю среду и оттолкнется от нее. Иными словами, беспокойство Ми-до-ре о том, что паразиты до-си-ре опустошат Землю, съедят ее, оказалось преувеличенным. До-си-ре использовали Землю только как питательную среду, а затем благодаря развившемуся в них инстинкту стали пожирать друг друга.

Вот почему Ми-до-ре вскоре обрел полное спокойствие за судьбу планеты Ля-соль-ми. Он знал наперед, что до-си-ре, как бы они ни присасывались к ее многострадальному телу, неминуемо погибнут и Земля выздоровеет. Правда, следует признать, был период, когда он, не на шутку испугался и уже совсем было решил, что болезнь вступила в роковую фазу: это произошло в тот исторический момент, когда в мозгу одного вида до-си-ре, который я назвал людьми, внезапно стал зарождаться и бурно развиваться новый орган, получивший название разума. Разум действительно представлял большую опасность для Земли. С его помощью человеческий род до-си-ре понял бы, что сохранить Жизнь можно лишь одним путем: не уничтожением самой Жизни, а добыванием жизненной энергии из неживой материи, созданием более совершенной неорганической Жизни. Разум возник в мозгу человека на ос-

нове узлов инстинкта; можно было предположить, что он, развившись, подавит и сделает излишним инстинкт как таковой, полностью вытеснив его из организма человека. Создалась угроза, что человек осознает себя и, познав тленность органического бытия и его тенденцию к распаду, восполнит его неорганической, вечной, не подверженной распаду материей соль-ля-си, подобной золоту и минералам, и тем самым победит смерть, короче говоря, излечится от своей болезни, станет явлением непреходящим.

Опасность и в самом деле была велика: с появлением разума начался осмысленный труд, Землю принялись бурить, копать, просверливать, кровь ее — тепло и электричество — использовали все в большей мере и до-си-ре становились все крепче и крепче. Пришло время, и они научились делать даже крылья из твердых материалов; жалкие земные червяки приобретали опасное сходство с бессмертными соль-ля-си. «Признаюсь, — разоткровенничался Ми-до-ре, — был момент, когда я усомнился, а не случится ли так, что люди с помощью своего разума победят материю и смерть? Но однажды я подверг скрупулезному исследованию жалкое тело одного до-си-ре. С помощью тончайшего скальпеля я вскрыл и рассмотрел под сильнейшим микроскопом опасное серое вещество в крохотном мозгу человека и после этого окончательно успокоился. Моя гипотеза о том, что разум уничтожил инстинкт, оказалась ошибочной. В несовершенном мозгу живого существа имеется существенный порок — он поражен органической болезнью. Болезнь эта неизлечима, человек страдает ею постоянно, и рано или поздно она положит конец человеческому роду. В чем же дело, хотел бы ты знать? Разум, возникший из инстинкта и имевший первоначально тенденцию к замене его, благодаря глупой случайности оказался оторванным от узла инстинкта и расположился в передней части мозга, в то время как его

предтеча продолжал спокойно пребывать и развиваться в тыльной части черепа. Ваши медики, кажется, называют подобное «внематочной беременностью», в результате которой погибают и ребенок и мать. Представьте себе два органа, выполняющих прямо противоположные задачи: один дает жизнь, другой — смерть. Благодаря этой ошибке природы человек представляет собой как бы своеобразного «сиамского близнеца», и он неминуемо погибнет, когда два антагониста — его разум и его инстинкт — на известной стадии своего развития столкнутся и задушат друг друга подобно двум семенам, брошенным в одну борозду, или двум рукам, из которых одна строит, а другая разрушает; одна цепляется за дно, чтобы спастись от бури, другая рвет якорную цепь; одна прикрывает свое тело, дабы не замерзнуть, другая срывает одежды и раскрывает наготу».

С этими словами Ми-до-ре поднес к моему лицу какой-то странный предмет овальной формы, под стеклом которого мерцал зеленовато-лиловый огонек. В его сиянии я сначала не смог разглядеть ничего, кроме какой-то колеблющейся туманности, но вот далеко-далеко, но очень отчетливо появилось бесконечное поле. Прошло еще несколько минут, и я понял, что передо мной Балтийское море, и узнал то место, откуда поднялся на гидроплане год назад. Передо мной были английские и немецкие военные суда: шло морское сражение. С высоты мне было видно все, вплоть до морского дна: вот, пробитый торпедой, тонет наш большой корабль, медленно погружается он в зеленую пучину, тяжелым пузырем покачивается в морском безмолвии и исчезает в зияющей бездне...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Автор приносит свои извинения за столь краткий отчет об этом необыкновенном путешествии. — Он поднимается на гору, где его поражает новое чудесное открытие. — Автор благополучно возвращается в свое отечество и застаёт семью в добром здравии.

Я мог бы написать многотомный труд и сотни музыкальных партитур, основываясь на своем пребывании на Фа-ре-ми-до, однако решил ограничиться лишь весьма кратким отчетом. Все, что я испытал там, все, что понял из бестелесной «музыки сфер», я так или иначе не в состоянии воспроизвести здесь, на Земле, ибо единственный язык, на котором я мог бы передать свои впечатления, показался бы людям непонятным мычанием, мистикой, бредом, подобным тому, как трансформируется в мозгу спящего речь разговаривающих над его головой. Итак, я смирился с тем, что мои впечатления от Фа-ре-ми-до, выраженные человеческим языком, останутся сумбурным, лапидарным и тусклым сколком того, что вынес человек, занесенный волею чудес на далекие звездные берега и затем вновь возвращенный на Землю, чтобы рассказать о своем удивительном путешествии тем, кто осмелится в это поверить.

Короче, я решил — скорее для самого себя, нежели для будущих читателей, — записать, как проходил последний день моего пребывания на Фа-ре-ми-до и как я вернулся на родину.

Однажды Ми-до-ре повел меня на высокую гору и усадил рядом с собой на вершине. Вокруг, куда ни кинь

взгляд, подо мной лежал безбрежный океан, всепоглощающее небо; казалось, будто гора, на которую мы взошли, поднималась из бесконечного пространства.

Тогда-то, сидя около своего гостеприимного хозяина, я вновь, как и в тот раз, когда впервые очутился на земле Фа-ре-ми-до, почувствовал на себе чары бесконечной красоты, которые может ощутить лишь художник, облекая свою любовь из плоти и крови в мрамор, более вечный, чем плоть и кровь, и истинно достойный красоты любимой.

Необыкновенная, скорее приятная, чем щемящая, грусть охватила все мое существо. Я думал о том, что говорил Ми-до-ре об Органической Жизни как форме болезни, и у меня более не возникало желания спорить с ним. Перед моими глазами, как в калейдоскопе, пронеслась панорама нищеты, страданий, болезней, убийств, агоний и смертей, крови и стенаний, страхов и тьмы, коварства и лжи, добрых мечтаний и зловещих пророчеств — одним словом, панорама того, что принято называть Историей Жизни. И когда после этого я взглянул на Ми-до-ре, лицо его, которое по нашим земным представлениям было мертвым, ибо состояло из неживых материалов — золота и холодных камней, — оно, излучавшее чистейшее сияние, тепло и чарующий звук, показалось мне идеалом гармонии и величайшей целесообразности. Только тогда я отчетливо понял, как глубоко заблуждался и как вместе со мной глубоко заблуждается все человечество. Горький комок сжал мне горло, и сквозь рыдания заплетающимся языком я поведал Ми-до-ре о своих сомнениях и о своем прозрении. И, встав перед ним на колени, я стал умолять его освободить меня от глупой, никчемной жизни, тяжелым камнем лежащей на мне и мне подобных.

В отчаянии воскликнул я, что не хочу ждать, когда в результате болезни жизнь на Земле оборвется и вечные силы природы — тепло, магнетизм и свет — одержат верх,

превратив все живое в подобие тех жалких, высохших деревьев, которые стоят по обочинам дорог Фа-ре-ми-до. Я напомнил Ми-до-ре, что в конечном счете мое брненное тело тоже содержит благородные вещества — неорганические элементы, углерод, водород, серу, — так почему же нельзя извлечь их из меня в чистом виде путем фильтрации и перегонки в специальных ретортах? Да, да, я согласен, чтобы он взял из моего организма все мало-мальски стоящее и использовал как ему заблагорассудится для производства соль-ля-си, а остальные составные части пусть развеет по ветру, чтобы они больше никогда не могли соединиться. Если же этого сделать нельзя, то пусть он даст мне какой-нибудь препарат или, черт возьми, окунет меня в особый раствор, с тем чтобы я превратился в камень или одеревенел навеки (ведь соль-ля-си все знают, все могут — они живут миллионы миллионов лет и для них больше не существует тайн природы, нет ничего невозможного!). Да, я согласен на все, лишь бы не умереть в муках в наказание за то, что появился на свет.

Ми-до-ре улыбнулся и с присущими ему доброжелательностью и достоинством поправил меня, сказав, что я глубоко ошибаюсь, полагая, будто соль-ля-си раскрыли все тайны природы. В этом, собственно, у них нет никакой необходимости, ибо они сами являются ее тайной, они-то и есть природа в ее непосредственной данности. Конечно, усвоить эту истину способен лишь разум из чистой неорганической материи, приводимой в движение прямой энергией внешнего мира, а не мой пульсирующий, подогреваемый кровью мозг, обреченный на разложение и распад. Что же касается моего желания освободиться от своей брнной оболочки, то оно кажется ему вполне логичным и законным: в этом он усматривает, что я начинаю кое-что понимать из аксиом Бытия. Подобная перспектива вполне реальна — ведь речь идет о весьма элементар-

ном химическом процессе, в котором с помощью различных реагентов, фильтров и калильных средств происходит окисление. Загвоздка только в том, что мое тело в его теперешней кондиции еще не готово к проведению подобного опыта и я могу испытать излишние мучения, в которых нет ни малейшей необходимости — через каких-нибудь десять-двадцать лет этот процесс произойдет автоматически и не причинит мне никаких страданий. Что же касается характера страданий, то он, Ми-до-ре, может дать мне приблизительное представление о них в любую минуту: у него имеется жидкость, введение которой в продолговатый мозг на какое-то время очистит мой разум от посторонних примесей и позволит мне воспринять явления внешнего мира в их первоизданном виде.

С этими словами Ми-до-ре достал небольшой стеклянный шприц и сделал мне легкий укол в шейный позвонок. Я почувствовал, как прохладная жидкость растекалась по моим жилам. На мгновение окружающий меня мир померк, но вскоре я пробудился от торжественной музыки.

Свои переживания в последующие несколько минут я могу передать лишь крайне сумбурно. До меня доносилась мелодия, исполняемая на каких-то странных, неведомых мне инструментах, производивших, однако, впечатление слаженного оркестра. Ми-до-ре дал мне возможность рассмотреть эти инструменты вблизи, и я увидел то, что еще ни разу не доводилось видеть человеку: я увидел Тепло, которая разноцветными волнами клубилась вокруг моего тела; я увидел Свет, который, приближаясь ко мне, перескакивал с одного предмета на другой; я увидел Магнетизм, выпускающий щупальца и сяжки из своего тела, которые тянулись друг к другу и сплетались в клубок...

Но важнее всего было чувство, доминировавшее надо всем: я вдруг понял, что все открывшееся моему взору живет, существует во мне самом, а не где-то во внешнем

мире, живет во мне, так же как и в каждом человеке, вот уже на протяжении многих тысячелетий; этот осязаемый и такой простой мир и был тем, что нам обычно не удается выразить словами и потому мы называем его ирреальностью, подсознанием, сверхъестественным, сверхчеловечным. Оказалось, что все это живет в нас самих и вокруг нас и только тупость и несовершенство наших органов чувств не позволяют нам охватить этот мир своим разумом. Подобно тому как слепцу, долгие годы проведенному в полной темноте и вдруг увидевшему солнце, оно представляется божеством, так и мы называем сверхъестественными те силы, которые теперь воочию предстали передо мной и которые, по сути дела, не что иное, как то, чем я должен был бы стать, попади я с самого начала в хорошие руки, и чем я могу стать, если до конца познаю самого себя и очищусь от тлена.

Я в упор посмотрел на Ми-до-ре и только теперь осознал, что его глаз, этот совершеннейший инструмент, созданный разумом, я видел еще с Земли, когда глядел на звезды. Я схватил его руку и почувствовал нечто подобное тому, что испытывал в детстве, когда с криком просыпался ночью от ощущения того, будто чья-то холодная, влажная рука хватала мою руку и та сразу делалась чужеродной. Помню, как ко мне подбегали родители и, смеясь, успокаивали меня, объясняя, что это моя собственная рука, которую я просто отлежал во сне.

Когда я понял все это, душу мою охватили смятение и беспокойство и я громко закричал. «Но почему, — кричал я, — почему все это должно было случиться? Почему мы, люди, не могли сразу понять такое простое и ясное послание иных миров?»

Молчание было мне ответом. Действие волшебной жидкости стало заметно ослабевать, музыка, удаляясь, затихла, и мои глаза вновь застлала пелена.

Я вынужден был согласиться с Ми-до-ре, что еще не готов — ни физически, ни духовно — без боли и грусти расстаться с самим собой во имя иной жизни, во имя высшей чистой гармонии. «Что же мне делать?» — спросил я его, и он посоветовал мне вернуться на Землю и жить жизнью людей до тех пор, пока здесь, наверху, не найдут подходящего момента для вышеупомянутого химического эксперимента. Он обещал, что, пока я буду находиться на Земле, соль-ля-си с помощью своих совершенных приборов позаботятся о том, чтобы после всего виденного в Фа-ре-ми-до я не пал духом и вновь обрел самообладание.

Ми-до-ре счел своим долгом сказать мне об этом, ибо я имел неосторожность пожаловаться, что после выпавших на мою долю испытаний мне будет нелегко вновь очутиться в обществе людей и животных — настолько отвратили меня от них все до-си-ре, которых я изучил через фаремидосийские приборы. На мой естественный вопрос, каким же образом я попаду обратно на Землю, Ми-до-ре снисходительно улыбнулся и заметил, что уж об этом я могу совершенно не заботиться — он все берет на себя.

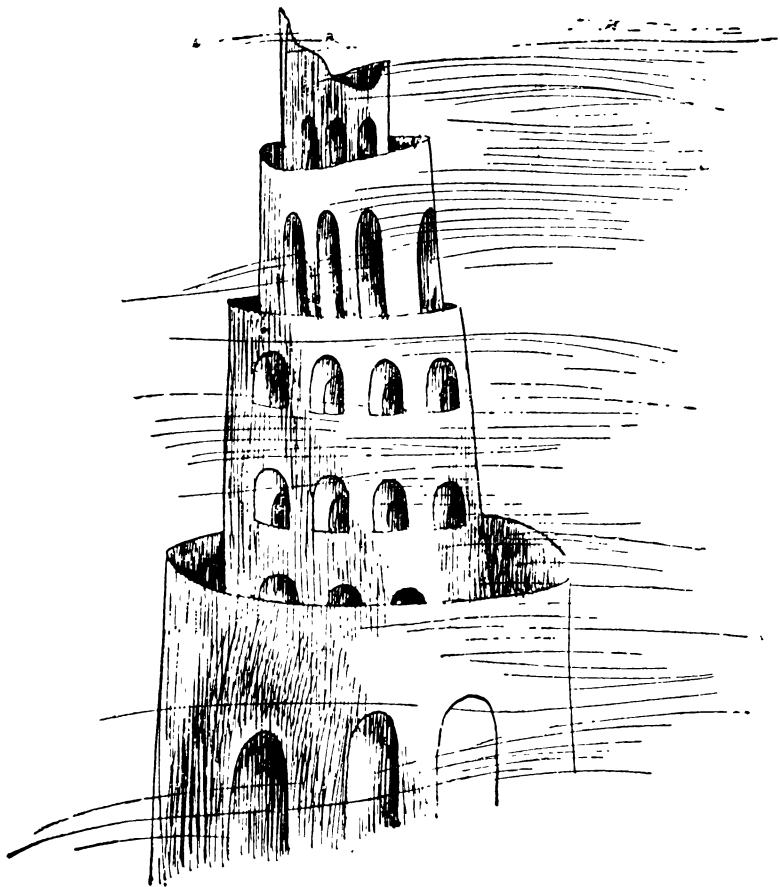
В тот же день с замиранием сердца и с щемящей тоской в душе я попрощался со всеми соль-ля-си, с кем имел счастье познакомиться за время пребывания в Фа-ре-ми-до. Ми-до-ре усадил меня в машину и заставил принять какой-то порошок, чтобы я заснул и не почувствовал тягот долгого пути. Очнувшись от глубокого сна, я увидел, что нахожусь на скале один — Ми-до-ре уже не было рядом. Я огляделся и понял, что снова нахожусь на Земле. Воспоминание о днях, проведенных в Фа-ре-ми-до, то и дело всплывало предо мной как далекий, чудный сон. Я опустил голову на камень и горько заплакал.

Вечером того же дня один норвежский крестьянин напал на мой след. Я узнал, что нахожусь неподалеку от Христиании, на нейтральной земле, и мне ничего не стоило

добраться до границы. Было весьма сомнительно, однако, смогу ли я получить визу для возвращения на родину, ибо нейтралитет Скандинавских стран раздражал мою горячо любимую Англию, находящуюся в состоянии войны с Германией. Норвежец чрезвычайно удивился тому, что меня нисколько не интересует ход мировой войны за истекшие полтора года: не волнует, кто какие территории занял, сколько людей погибло, сколько захвачено в плен, сколько умерло от тифа и других эпидемий, сколько сбито аэропланов, сколько разрушено городов, кого из генералов наградили и кого сместили с высоких постов.

Не буду докучать читателю ни подробностями моего возвращения домой, ни описанием того, с каким трудом я свылкался с невыносимыми теперь для меня формами общения с до-си-ре, то бишь людьми. Первое время, когда я в ужасе отшатывался от протягиваемых ко мне рук или при виде любого приближающегося живого существа, на меня смотрели как на сумасшедшего. Врачи поставили диагноз: «Идиосинкразия». Откуда им было знать, что, живя на Фа-ре-ми-до, я привык считать все живое заразной болезнью, малейший контакт с которой чреват смертельной опасностью? Я не спорил с ними. Я терпеливо стал ждать дня освобождения, веря в обещание Ми-до-ре взять меня к себе, как только я буду готов для такой чести. С тех пор я с какой-то особой надеждой и затаенной радостью смотрю на синее небо и читаю в его добрых и теплых глазах, которые люди почему-то называют Солнцем, поддержку: обо мне помнят там, наверху, и никогда не забудут.

По земному счислению мое путешествие на Фа-ре-ми-до длилось всего лишь около полутора лет: восемнадцатого января 1916 года я прибыл в Христианию, а две недели спустя, второго февраля, уже был в Редрифе, где застал свою жену и детей в добром здравии.



КАПИЛЛАРИЯ
(Шестое путешествие
Гулливера)

Мужчина и женщина — как им по-
нять друг друга?
Ведь они желают противоположно-
го: мужчина — женщину, женщи-
на — мужчину.

Я испытываю особое удовольствие от того, что на мою долю вновь выпало счастье издать и представить читателю рассказ о шестом, до сих пор не известном путешествии Гулливера. Мистер Джонатан Свифт, мой выдающийся предшественник, которому принадлежит честь открытия и публикации рукописного наследия Гулливера, двести лет назад выпустил под общим названием «Путешествия Лемюэля Гулливера» записки о четырех его путешествиях в Лилипутию, Бробдингнейг, Лапуту и в страну гуигнгнмов. Около двух лет назад в мои руки попала (к сожалению, лишь во фрагментах) копия неизвестной рукописи Гулливера о его пятом путешествии. Я издал ее тогда под названием «Путешествие в Фа-ре-ми-до». Друзья великого путешественника и приверженцы его богобоязненных взглядов наверняка помнят эту книгу, которую хотя и нельзя сравнить по изложенным в ней географическим и этнографическим сведениям с бессмертными произведениями Стэнли, Нансена или Вамбери, но, однако, благодаря пронизывающему все ее содержание пламенному патриотизму можно смело причислить к тем книгам, которые любой педагог безбоязненно рекомендует молодежи как в познавательных, так и в общественно-воспитательных целях, что само собой составляет неоспоримое достоинство всех известных нам сочинений Гулливера.

Публикуемые ниже заметки, повествующие о Капилларии, стране существ женского пола (за исключением страниц, занятых пейзажными зарисовками и пусть не

очень притязательными, но вполне достоверными топографическими и естественнонаучными наблюдениями), отличаются особым интересом, что и делает эти заметки не вполне читабельными для той части публики, которая не увлекается кошмарной и экзотической фантастикой, а ждет от нашего автора искреннего восхваления семейной идиллии, счастливой гармонии в отношениях между мужчиной и женщиной, прославления мудрых человеческих и божеских законов, установленных с тем, чтобы сделать возможным в современном обществе гармоническое сожительство мужчин и женщин во имя развития и блага человеческого рода.

Фридьеш Каринги

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Автор оправдывает причину, по которой он, нарушив клятву, в шестой раз отправился в путь. — Он принимает должность судебного врача на корабле «Куин». — Немцы атакуют корабль. — Автор в отчаянном положении готовится к смерти, но особые обстоятельства приводят его к воротам Капиллари.

Читатель, конечно, вновь немало удивится, узнав, что вопреки печальному опыту, когда лишь чудесная случайность помогла мне снова вернуться в Редриф и увидеть обожаемую отчизну, а также не менее обожаемую семью, и несмотря на то что я клятвенно обещал горячо любимой супруге провести в мире и спокойствии остаток дней своих, посвятив жизнь только домашнему очагу, — после всего этого я тем не менее в шестой раз решился принять участие как хирург в одном весьма сомнительном по своему исходу предприятии.

Это может показаться тем более странным, что с момента моего возвращения из Фа-ре-ми-до моя горячо любимая жена, глубоко прочувствовав свой материнский и супружеский долг, всячески старалась подчеркнуть многочисленные опасности, которыми чреваты мои путешествия; угрожая моему здоровью и даже жизни, убеждала она, они в конце концов могут раз и навсегда сделать попросту невозможным выполнение мною обязанностей главы семьи и лишат меня всякой ответственности за благополучие горячо любимой жены и детей.

Вряд ли я смогу когда-нибудь в полной мере воздать по заслугам моей возлюбленной супруге за образцовое вы-

полнение ею своих обязанностей. В молодости она была очень хороша собой, многие просили ее руки, но она, трезво взвесив все обстоятельства, великодушно избрала именно меня спутником жизни, связав свою судьбу с моей и подарив мне тем самым радость взаимной любви.

С тех пор она не упускала случая пользоваться супружеской привилегией: она постоянно понукала меня к наиболее ревностному исполнению семейного и мужского долга, что почитается святой целью брачного союза. Всю нашу совместную жизнь моя любимая жена, честно выполняя свой долг, не уставала напоминать и вдалбливать мне, что первейшим достоинством настоящего мужчины является беззаветное служение жене и семье. В этом занятии она усматривала свое призвание и подчиняла ему все иные соображения, все редкие радости жизни; с фанатической верой трудилась она над тем, чтобы я предстал перед другими людьми не иначе как в виде идеального семьянина, готового ради семьи пожертвовать всем, даже самим собой.

Помыслы моей дражайшей супруги, заботящейся исключительно о моем благе, были направлены на то, чтобы окружающие ценили и уважали меня как идеального мужа и настоящего мужчину. Нередко, когда я в минуты малодушия или тоски, а то и просто устав от тяжелого труда во имя благополучия семьи, хотел найти забвение в легком развлечении — в такие минуты только ее сильная, непоколебимая воля и крепкая рука спасали меня от того, чтобы когда-нибудь мои внуки могли отозваться обо мне как о легкомысленном и подлом человеке, не пекущемся о семейном благе. В этих случаях моя любимая жена не знала усталости, чтобы сберечь мою пошатнувшуюся репутацию. Она учила меня тому, что стоит лишь поднатужиться, и я могу заработать еще денег то там, то здесь. Она брала меня с собой, когда ей требовалось купить шляп-

ку или платье, с единственной целью — доказать своим приятельницам и моим друзьям, какой я заботливый, внимательный муж. Она безостановочно прищипывала мой бока, то и дело побуждая к достойным поступкам и доказательствам бескорыстия, к самопожертвованию и прочим христианским добродетелям. Она хитроумно находила повод к тому, чтобы я как можно чаще демонстрировал все свои добродетели. По утрам она безбожно трясла меня, если я позволял себе поваляться в постели; когда на меня нападала меланхолия, она тут же выпроваживала меня на службу — словом, делала все, чтобы сохранить мое доброе имя.

Постепенно она-таки добилась, что все окрест стали смотреть на меня как на одного из самых уважаемых и добропорядочных граждан округи. И вот когда на мое любимое отечество, забывшее в своей наивности о том, что на земле еще существует человеческая подлость, и в поте лица трудившееся над усмирением Греции и над тем, чтобы вынудить к изгнанию короля Трансвааля, дабы прикарманить несколько немецких колоний, словом, когда в самый разгар этих занятий на мою родину коварно напали немцы, возмущение этой беспримерной наглостью заставило взяться за оружие каждого честного британца, в том числе, разумеется, и меня.

Пламенный призыв родины защитить от врага слабых женщин и детей выбил слезу из глаз моей обожаемой супруги, и она, как истинная патриотка, во имя отчизны готовая на все, ни минуты не колебалась: если нужно, если потребует родина, заявила она мне, она готова принести в жертву святой цели все, даже... мою жизнь. Итак, моя нежная и горячо любимая жена торопила меня скорее отправиться на войну.

На первых порах я нес тыловую службу в Ливерпуле. Моя жизнь в этот отрезок времени была весьма нелегкой,

ибо почти всего себя я отдавал общему делу, которому служил бескорыстно, воодушевляемый, как и мои соотечественники, святой целью: защитить от варваров наших слабых жен. Наряду с этим я старался проявить максимальную заботу и обеспечить безбедное существование моей жене и детям. И хотя я горел желанием поскорее очутиться на поле брани и славы, меня удерживало от этого шага главным образом то, что в этом случае моя обожаемая жена вынуждена была бы жить на весьма скромное, отнюдь не достаточное пособие, которое государство выплачивало семьям призывников.

Наконец моя любимая супруга, которая проявляла естественную заботу о моем уязвленном самолюбии, нашла выход из этого двусмысленного положения, целиком отвечавший моему мужскому достоинству и возвращавший мне потерянный было душевный покой. Она заставила меня застраховаться в одной из открывшихся в те времена страховых контор, хотя полис для военнослужащих в ту пору был очень высок и сопряжен с уплатой весьма солидной ежегодной суммы.

Добывание денег для страховки настолько вымотало меня, что в 19... году я заявил о своем желании добровольно отправиться на передовую.

Как военного хирурга меня прикомандировали к торговому судну «Куин», в задачу которого входило держать под прикрытием военных кораблей транспортную связь между Англией и Америкой по опасным океанским линиям, проходящим через зону действия немецких субмарин.

Итак, на рассвете 26 июня 19... года я распрощался с любимой женой, которая поначалу горько рыдала, но затем, взяв себя в руки, напомнила мне о моем воинском долге, как то полагается истинной жене солдата.

В тот же день, пополудни, с небольшой поклажей и в полном снаряжении я причалил к борту корабля и полу-

чил от его командира необходимые инструкции. С попутным ветром наш корабль вышел из порта, и 3 июля, оставив часть груза в ирландском городе Г., мы вышли в открытый океан.

Некоторое время мы беспрепятственно продолжали свой путь. 6 июля мы находились в точке на широте $13^{\circ}27'11''$ и долготе $49^{\circ}22'36''$.

В тот день — стыдно признаться — мною владело какое-то беспричинное веселие, отнюдь не вяжущееся, более того — откровенно противоречащее плачевному положению моей беззаветно любимой отчизны. Читатель, верно, сможет простить мне этот грех лишь в том случае, если я откроюсь, что незадолго перед тем принял небольшую дозу спиртного. Итак, у меня было отличное настроение — я подчеркиваю это свое признание потому, что дал зарок писать только правду, только то, что действительно происходило со мной, без утайки и без прикрас, в отличие от иных путешественников, которые, описывая события, стремятся лишь к внешнему эффекту. Сказать по чести, я даже пел. К вечеру я получил радиограмму от жены, в которой она извещала, что чувствует себя вполне прилично, что зубная боль у нее прошла, что она купила по сходной цене пару перчаток и потому, если и мои дела идут столь же хорошо, как и у нее, я могу ни о чем не беспокоиться.

И тут меня будто пронзило молнией, ужас и отчаяние охватили меня после прочтения радиограммы: я вспомнил, что на прошлой неделе забыл внести последний страховой взнос в компанию, которая в случае моей гибели должна была выплатить моей обожаемой жене двадцать тысяч фунтов стерлингов. Оставалась всего неделя, в течение которой я еще имел право погасить свой долг, но если бы за это время меня настигла смерть, то все прежние взносы пропали бы и супруга не получила бы ни пени. В какой-то мере меня все же успокаивала мысль, что при подоб-

ном исходе вся указанная выше сумма страховки отойдет государству, ибо фонд страховой компании принадлежал моему любимому отечеству, за которое я готов был пожертвовать жизнью, защищая от врага наших слабых жен и сирот.

Так, преисполненный сомнениями и страхами, я проснулся на рассвете 10 июля — день этот сохранился в моей памяти навечно. В тот день на палубе внезапно слышался страшный шум. С топотом мчались матросы, дико орал капитан. Я понял, что наш корабль торпедирован немецкой подводной лодкой, причем совершенно неожиданно, ибо в этих водах — мы как раз плыли над самым глубоководным районом — нападений не отмечали.

Первое, о чем я подумал, был непогашенный страховой взнос, и моему мысленному взору предстало укоризненное лицо любимой жены, заставившее меня громко вскрикнуть от сожаления. Корабль быстро стал погружаться, и у меня хватило времени лишь на то, чтобы прыгнуть в спасательную шлюпку, в которой уже находилось человек двадцать. Спустя несколько минут наш гордый «Куин» со всем оснащением и драгоценным грузом на борту скрылся под вспучившейся волной.

Я рассчитывал, что наш шлюп подберет какой-нибудь крейсер, но, увы, демону несчастья, видно, захотелось, чтобы я до конца испил чашу моих бед: через три часа ужасный взрыв сотряс воздух — шлюп наткнулся на блуждающую мину и раскололся на части. Выброшенный в воду, я какое-то время старался спастись вплавь, горько проклиная ту минуту, когда, забыв о своем богатом горестями опыте, в шестой раз бросился в неизвестность.

В довершение всего я попал в водоворот и быстро потерял остаток сил. В последний раз взглянул я вверх, чтобы навеки проститься с сияющими в солнечных лучах облаками, которые так мирно плыли по небу, затем раски-

нул руки и отрешенно отдал свое измученное тело воле океана. Несколько мгновений я, легко покачиваясь и вращаясь, опускался в просвечивающую зелень пучину — помню, с каким наивным, достойным жалости удивлением взглянул я на плоскую красную рыбину с комически разинутой пастью, когда она ткнулась в мой нос и испуганно шарахнулась в сторону. Я тоже широко открыл рот в надежде скорее встретить смерть, более того, как ни странно, я даже сделал несколько ритмичных, правильных вдохов, точно рыба, вынутая из воды, как бы желая в последнюю минуту научиться от водоплавающих дышать под водой.

Но затем я, конечно, потерял сознание и не могу сказать, сколько времени — минуты или часы — длилось это состояние, очень похожее на смерть.

Я пришел в себя на чем-то мягком и упругом и, почувствовав, что живу, подумал, что выловлен сетями и нахожусь на палубе какого-нибудь судна. Однако, открыв глаза, к своему величайшему изумлению, увидел над собой плотную массу зеленой воды, в которой сновали невиданные рыбы, морские змеи и ящеры. Я попытался поднять руку, но ощутил огромное сопротивление. В ушах как-то странно гудело, казалось, они были чем-то заложены: я дотянулся до уха и на его месте нащупал круглый, с ладонь, короб или, если угодно, диск, присосавшийся к моим вискам. Все более поражаясь, я поймал себя на том, что произвольно делаю обычные вдох и выдох.

С глухим стоном я попробовал сесть, но в тот же миг услышал рядом какой-то свистящий шорох; повернув голову, я увидел, как на бледном и мягком фоне преломляющейся среды, что тянулась до самого горизонта, окруженного цепью гор, показалась женская головка неопишуемой красоты — она вглядывалась в меня с любопытством и вместе с тем отчужденно.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Автор осознает, что чудесным образом остался в живых на дне океана. — Он пытается сориентироваться. — Странные сооружения. — Удивительная растительность. — Неизвестный вид животных. — Аборигены берут автора в плен.

Видение — иначе я не могу назвать то, что предстало моему помутившемуся рассудку и лихорадочному взору, — длилось всего несколько мгновений, потом оно стало медленно расплываться в сверкающей голубовато-зеленой воде и, окутанное туманной пеленой, исчезло вовсе.

Я встал на ноги и с изумлением, граничащим с испугом, принялся ощупывать свои члены, все с большей очевидностью убеждаясь, что я жив и не потерял чувствительности, хотя, разумеется, с оговоркой на чрезвычайные обстоятельства и не в том смысле и мере, как это могли бы истолковать жители суши. Вокруг меня и надо мной гудела уходящая в бесконечность прозрачная толща вод, но мои ноги упирались в твердую почву, простиравшуюся насколько хватает глаз. Подводную твердь покрывала неведомая мне растительность, невдалеке как-то чудно поблескивало маленькое озерцо, за ним поднималась небольшая, мягко очерченная возвышенность.

Откуда сюда проникает свет, я не мог понять; одно было несомненно: как это ни покажется немыслимым, я нахожусь под водой, причем весьма глубоко, по всей вероятности на самом дне, и... живу. Эта мысль на мгновение привела меня в ужас, и я решил, что вот-вот умру, что это минутное состояние вызвано агонией умирающего и

что безжалостная судьба просто пожелала показать мне место, где я почию в бозе. Вспомнив о жене и детях, я в отчаянии схватился за голову — и снова обнаружил на своих висках какой-то предмет в виде присосавшейся раковины.

В ту же минуту у меня промелькнула мысль, что своим спасением я каким-то образом обязан этим раковинам. Сомнений больше не оставалось — дышал я ритмично, а пульсирующая кровь и биение сердца доказывали, что мой организм получает ту своеобразную смесь кислорода и азота, которая является основным условием всякой органической жизни. Прошла еще минута, и я понял, что эти химические элементы попадают в мои легкие не через рот и нос, как это вообще принято, а через ушные проходы, разумеется, с помощью приставленных к моим вискам раковинообразных приборов.

В моей памяти немедленно ожили полученные в школе сведения об обитателях подводного мира, которые, как и мы, дышат кислородом и также имеют легкие, с той лишь разницей, что кислород они добывают из воды при помощи особого органа — *жабр*.

Итак — в этом больше не приходилось сомневаться, — пока я лежал без сознания, кто-то непонятно зачем и каким образом приладил к моим ушам особую приставку, которая заменяла жабры, чья-то рука оснастила меня «жаберными протезами», подобно тому как бывают протезы ног, рук и даже ушей (слуховые аппараты). Теперь стало совершенно ясно, что ни о чем другом и речи быть не могло; я даже, помнится, тогда подумал: как странно, что торжествующий человеческий разум, усовершенствовавший свой глаз в фотографическом аппарате, свой слух — в телефоне, благодаря изобретению пропеллера поднявший человека, как птицу, к облакам, что этот человеческий разум до сих пор не задумался над тем, чтобы

завладеть глубинами бесконечного океана, сконструировав по образцу жабр такой дыхательный аппарат, который позволил бы превратить человека в свободно плавающую рыбу или в человека-амфибию, подобно тому как самолет превратил его в парящую птицу.

Размышляя об этом, я тогда был почти убежден, что попал в страну, где эта проблема разрешена. Во мне проснулась склонность к приключениям, пробудился тот самый инстинкт путешественника, который послужил причиной стольких несчастий и злоключений в моей жизни (и снисхождения к которому я смиренно прошу у читателя, ибо только этот беспокойный инстинкт и сделал возможным появление моих путевых дневников, которые, тешу себя слабой надеждой, обогатят скромными и непритязательными сведениями мировую историю путешествий).

Затем я подумал, что неплохо бы узнать, какие они, здешние обитатели, населяющие подводное царство. Я предположил, что это высокоразвитые существа, весьма продвинувшиеся в математике и смежных с нею технических науках, что позволило им превзойти жителей наземных стран — об этом свидетельствовало хотя бы изобретение искусственных жабр.

Рассуждая таким образом, я пришел к выводу, что владельцы здешних мест должны быть где-то неподалеку: ведь с того момента, как они приладили жабры к моим вискам, вернув мне дыхание, должно было пройти всего несколько секунд — в противном случае я бы неминуемо погиб. Чтобы дать возможность глазам привыкнуть к таинственному освещению, я начал понемногу двигаться. Делая руками плавательные движения, я осторожно направился в сторону поблескивающего озера.

Гибкие водоросли и травы опутывали мои ноги, за каждый шаг приходилось бороться. Мельчайший красный песок завихрился подо мной, и из него выскакивали стаи

рыбешек причудливой формы со змеистыми усиками и плавниками. Теперь, когда я несколько освоился, видеть стало лучше. За озером мне почудились силуэты довольно правильных вертикальных зданий — это только подтверждало мое предположение о том, что я попал в обитаемый район, застроенный разумными существами. С большим трудом добрался я до берега: передо мной распростерлось ослепительное зеркало дивного озера — только теперь я поймал себя на мысли, как это удивительно видеть на дне океана другой, отграниченный от основной массы воды локальный водоем, поверхность которого, топорща и окольцовывая ее, удерживает в особых границах какая-то неведомая сила.

Вскоре я разгадал и эту загадку. Наклонившись к зеркальной глади, я увидел свое испуганное, побледневшее лицо, искривленный в гримасе рот и раздувающиеся ноздри; с двух сторон к моим вискам были приставлены зеленые тарелочки-раковины. Я нагнулся еще ниже и, погрузив ладони в жидкость, зачерпнул ее, а потом поднес к глазам. Сверкающие, свинцового цвета капли мягко скатились с моих пальцев. Я тотчас догадался, что держал в руках *hydrargyrum*, или попросту ртуть, — здесь, на дне моря, этот текучий металл образовал целое озеро.

Продвигаясь вперед сначала по узкой косе, а затем по колено утопая в ртути, я наблюдал неисчислимую армаду существ, совершенно неизвестных науке о животном и растительном мире океана: причудливых рыб, диковинные водоросли, морских пауков, крабов, змей и множество иных рептилий, подробным описанием которых я не хочу докучать читателю. Все это убедило меня в одном: я нахожусь на глубине, куда не проникал еще ни один исследователь и откуда, естественно, до нас не доходило никакой информации. Достигнув противоположного берега, я остолбенел: прямо передо мной в расщелине скал высился

столб или скорее башня, сложенная из колец правильной геометрической формы. Она сужалась кверху, и ее макушка скрывалась в двадцатиметровой вышине. На верхних кольцах-этажах башни я заметил какое-то непрерывное движение, похожее на метание крошечных черных языков пламени.

В надежде поскорее что-то узнать я приблизился к странному сооружению и обнаружил, что в стенах башни на одинаковом расстоянии друг от друга расположены щели размером в ладонь. С радостью я констатировал, что по краям они украшены орнаментом, словно свидетельствуя о том, что здесь обитают не просто разумные, но и культурные существа. Когда же я нагнулся, пытаюсь заглянуть в одну из щелей, с карниза с неприятным шорохом сорвалось какое-то существо, стало быстро-быстро карабкаться на следующий этаж, там повернулось и, тяжело дыша, содрогаясь всем телом, панически вытаращило на меня глаза.

Движение, с каким неизвестное существо повернулось ко мне, казалось столь осознанным, что я от изумления тоже встыл на месте и некоторое время мы смотрели друг на друга в упор, пока мне наконец не удалось овладеть собой.

Легче нарисовать, чем описать то существо, которое я увидел. Это необычное животное — если оно было таким — не превышало по длине (или высоте) двадцати пяти сантиметров. С первого взгляда его вытянутое цилиндрическое туловище напоминало угря. Но вскоре я вынужден был признаться самому себе, что невиданное существо не принадлежало ни к рыбам, ни к змеям: оно имело ярко выраженную голову, шею и туловище со сложной системой конечностей. Но самым поразительным, что с первого

взгляда привело меня в замешательство, была голова этого существа: она имела свое *лицо* — в том смысле, в каком мы обычно говорим о лице человека. Под широким, выпуклым и лысым черепом с очень высоким лбом располагались два прищуренных, беспокойно бегающих в глубоких глазницах зрачка; вместо носа — две дыры, под ними, прикрывая рот, трепыхалась длинная реденькая борода. От толстой, почти сливающейся с туловищем шеи отходили две тонюсенькие конечности в виде рудимента рук. Сзади также виднелись две расплюснутые, растопыренные пятерни, похожие на недоразвитые крылья, — когда существо передвигалось, они делали беспомощные махательные движения, словно агонизируя. Два коротких, в виде шкворня, отростка по бокам выполняли функцию ног — они состояли как бы из двух крупных подшипников, посаженных на перепончатые пальцы, заканчивающиеся когтями.

Установить, какими конечностями пользуется существо для своего передвижения, было невозможно, равно как не представлялось возможности сказать, ползет ли оно на животе или ходит выпрямившись на ногах, а быть может, с помощью крыльев-культипок мечется в воде. Каждая из конечностей производила впечатление рудиментарного остатка чего-то такого, что некогда было полноценным органом, или же, наоборот, зачаточной формой заново начавшей развиваться части тела. Диковинное существо обладало буквально всем, чем, согласно естественной научной классификации, полагается обладать лишь отдельным видам животных порознь, — у него были и ноги, и руки, и крылья, и плавники, его тело покрывали и волосы, и шерсть, и перья, и чешуя, но все это находилось в уродливом, недоразвитом состоянии. Казалось, оно служило природе экспериментальной моделью, на которой испытывались различные варианты живого в самых причудливых

сочетаниях, чтобы затем перенести опыт на других животных. Словом, это существо походило на манекен в витрине протезной мастерской, который демонстрировал искусственные ноги, искусственные руки, искусственный череп и даже грыжевый бандаж. В одном лице оно совмещало в себе млекопитающее, рыбу, птицу, а скорее всего червя, но поразительнее всего (и это я позволю себе заметить лишь шутки ради), что во всем облике этого существа было и нечто человеческое. Ибо, несомненно, одной из главных причин моего потрясения был пригвоздивший меня к месту поистине человеческий взгляд этого существа, который оно бросало на меня из-под высокого лба.

Да простят меня уважаемые сограждане за сравнение, пусть мимолетное, этого удивительного червя с человеком, но ведь обитатели подводного мира часто служат для нас предметом подобных чисто внешних, комических аналогий. Кто не узнает в аквариумах широко известного морского конька — рыбу, голова которой всем нам напоминает голову скакуна? Или другую рыбу, плоскую и неповоротливую, с большими круглыми зрачками и скорбно опущенными уголками рта — олицетворение человеческого страдания?

Я подумал обо всем этом, едва оправился от первоначального потрясения. Когда же я протянул руку, чтобы дотронуться до странного существа (во время своих скитаний я привык преодолевать безразличие и отвращение — их пересиливали любознательность и научная страсть), то услышал звук, похожий на фырканье, и уродец проскочил между моими пальцами. В следующую минуту он уже исчез из виду.

Я обошел башню, заглядывая в щели. Часто мне чудилось, что из мрака за мною следят горящие зрачки и при каждом моем повороте существа, подобные описанному, перескакивают с места на место. Трех или четырех из них

я решительно видел в одной расщелине, но они быстро спрятались. По беспрестанной возне и шуршанию чувствовалось, что там, внутри, идет скрытая жизнь, и хотя я ничего не мог разглядеть, все же меня не покидала уверенность, что за стеной кишмя кишат странные существа, которые при приближении к их жилищу невиданного, возможно, враждебно настроенного пришельца, в испуге забились в щели и укрдкой следят за ним.

Предположив, что они вновь вынырнут на поверхность, стоит мне отойти от башни, я свернул на узкую тропу. И тут передо мной открылось новое удивительное зрелище, которое сразу же заставило меня забыть об отвратительных маленьких уродцах.

В конце тропы возвышался помпезный дворец — колонней из розового мрамора; высокие монументальные стены его скрывались в полумраке, так что купола не было видно. Но то, что было доступно взору, настолько потрясло своей красотой, что ноги мои вросли в землю.

Под аркой дворца стояла очень высокая женская фигура — прекрасная, как сон, как мечта художника, величавая, словно скульптура. Как она была одета, мне разглядеть не удалось — казалось, она плывет в облаках. Первое, что бросалось в глаза, были ее волосы — золотистым потоком, мягко переливающейся, трепещущей волной расплывались они в бесконечности.

Она сразу увидела меня. Что-то крикнула, повернувшись к воротам, и с неопишуемой грациозностью скрылась из виду. Не знаю, что произошло со мной в ту минуту, — помню только, что, тяжело дыша и захлебываясь, я ринулся к воротам, прошел по широкой овальной балюстраде, затем миновал выложенный разноцветными плитами коридор. В ажиотаже я поначалу даже не обратил внимания на препятствие при ходьбе — гладкие золотистые нити все сильнее оплетали мои руки, шею и ноги. В конце

концов они совсем связали меня и я не мог больше сделать ни шагу. Тысячи и тысячи тонких нитей сплели меня, и я очутился в нитяной бобине, в шелковичном коконе, в сетях. Перед моими глазами перекрещивались упругие, тонкие волоски. Вероятно, нечто подобное испытывает шмель, когда глупо тычется в паутину, уготованную ему пауком, и в своих попытках вырваться из нее еще больше запутывается.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Описание уроженцев здешних мест. — Зодчество в Капилларии. — Автор представляется и пробует объяснить. — Первая трапеза.

Мое изумление было тем более велико, что нити, спленившие меня, были, собственно говоря, невидимыми, по крайней мере для моих глаз и в данной среде. Должен заметить, что освещение в этой удивительной стране было вполне достаточное, чтобы человеческое зрение схватило самые мельчайшие предметы, и я чувствовал себя так, словно гулял по английскому парку или полю в яркий солнечный день. Равномерный свет, однако, не имел центрального источника, и потому в Капилларии понятия тени не существует, зато есть множество оттенков освещения — от розоватого до густого бордо, от бледно-сиреневого — через все цвета радуги — до ярко-желтого и пурпурного кармина.

Но обо всем этом у нас еще будет повод поговорить. Пока же достаточно сказать, что прочные нити, в которые я попал, точно шмель в паутину, были на редкость эластичными и почти неосязаемыми. Необычное состояние продолжалось несколько минут: я лежал на спине и с интересом рассматривал стройные переплетения куполообразного зала над своей головой. По своей архитектонике постройка казалась чрезвычайно монументальной — головкружительно высокие, мощные колонны, уходящие ввысь, будто предназначались для здания, построенного на века. Они покоились на могучем постаменте, рассчитанном выдерживать колоссальный груз. Исходя из этого, я мог бы предположить, что предо мною обитель великанов,

грозных духов или же полубогов неведомого мира, если бы предшествующий опыт не убедил меня в обратном.

Не премину тем не менее отметить, что на всем, что я увидел, лежала печать незавершенности, фрагментарности. Монументальные колонны не имели карнизов, кровля была уложена явно наспех и поддерживалась временными лесами. Однако самое вопиющее противоречие обнаружилось между архитектурой дворца и его интерьером. Тяжелые мраморные стены были увешаны по-детски наивными безделушками, кружевами, картинками, повсюду стояла игрушечная мебель, хрупкие полки неизвестного назначения были уставлены экзотическими плодами и цветами — все это по стилю напоминало красочные, изящные, но мелкие поделки в японских бумажных домиках.

Погруженный в собственные мысли, я вдруг почувствовал, что лицо мое, словно живой водой, обдало легким дуновением ветра. С трудом подняв голову, я от неожиданности лишился дара речи: рядом со мной, в каких-нибудь трех шагах, стояло то прекрасное видение, которое так пленило меня под аркой дворца. Высокая, на редкость стройная и вместе с тем дородная женская фигура в розовой пелерине и с букетом дивных цветов в рассыпающихся, будто струящихся волосах стояла передо мной. Ее лицо, озаренное обворожительной улыбкой, не выражало ни страха, ни удивления — оно было прекрасно, это лицо, невероятно, ангельски прекрасно: сказочно мягкая голубизна ее сверкающих словно два драгоценных камня глаз купалась в аметистовом сиянии губ; нигде ни намек на угловатость, никаких следов твердости или решительности. Подперев подбородок изящными длинными пальцами, она спокойно и улыбочиво глядела на меня. Я пролепетал что-то вроде приветствия — судя по манере держаться, я счел ее за придворную даму и, не будучи уверен, девушка

передо мной или замужняя дама, осторожно назвал ее миледи.

Она широко раскрыла глаза и громко рассмеялась, а затем энергично кивнула головой. Легкая волна окатила меня, и в ту же минуту я почувствовал, как ослабли нити на моем теле. Я принял сидячее положение, а затем, когда прекрасное создание еще раз встряхнуло своей божественной гривой, поднялся на ноги.

Теперь мы стояли друг перед другом. Почтительно склонив голову, я довольно гладко (если учитывать особые обстоятельства и вполне понятное смущение, владевшее мной) произнес несколько фраз по-английски, заранее имея в виду, что хотя я и гость неизвестной цивилизации, тем не менее обязан дать понять, что, поскольку эту страну открыл я, мое горячо любимое отечество имеет полное право рассматривать ее как британскую колонию.

Я сказал, что зовут меня Гулливером, по профессии я хирург, что я прошел курс обучения в лучших английских университетах, что, наконец, я являюсь членом Королевского хирургического общества. Я вкратце охарактеризовал свои скромные заслуги, выразившиеся в обогащении жанра приключенческой литературы на моей отчизне, не забыв упомянуть и о премии, которую получил от Национальной Академии за трактат на тему «Роль шейного позвонка в истории развития человеческой цивилизации». В заключение я сообщил, что моя жена и дети пользуются любовью и уважением лучшей части общества города Редриф и что, как солдат, я имел честь быть среди первых, кого призвало на военную службу отечество, вынужденное вести оборонительную войну за полный захват вражеской Германии.

После такого краткого представления я поднял голову и с удивлением обнаружил, что передо мной стоит уже не одна упоминавшаяся миледи, а по крайней мере дюжи-

на: они столь бесшумно и с такой легкостью подпорхнули сюда, что я и не заметил. Их было весьма сложно отличить друг от друга, и если я скажу, что они были одна красивее другой, то, по сути дела, воспользуюсь весьма тривиальным выражением. Во всяком случае, в ту минуту я не мог ни одной из них отдать предпочтение. Я было совсем приготовился, учитывая прирост аудитории, повторить все ранее сказанное, когда ближе других стоящая ко мне дама сделала движение, от которого я буквально остолбенел. Улыбаясь, это прелестное создание, подобно птице, раскинувшей белые крылья, с легкостью сбросило с себя пенистую пелерину и в следующее мгновение предстало предо мной совершенно обнаженным.

Памятуя о своих соотечественниках, я считаю первейшим долгом подчеркнуть, что основной причиной моего шока было, разумеется, то чувство скромности и стыдливости, каковое положено иметь добропорядочному отцу семейства и примерному мужу. Но в то же время должен признаться, что в не меньшей мере меня бросило в жар от того, что я увидел. Тело этого удивительного создания — и, как я убедился позднее, всех остальных, кто окружал меня, — с одной стороны, воплощало в себе совершенство всех форм, всего очарования красоты, о которой лишь могли мечтать женщины Земли, а с другой — по своей особой материальной природе далеко превосходило все, что нам известно о живой материи. Наука, занимающаяся изучением морской фауны, знает несколько пород случайно обнаруженных редчайших рыб, которые невидимы в океане благодаря тому, что их тело прозрачно, как морская вода. Так вот, тела окружавших меня существ отличались не только изящными и гибкими формами, не только шелковистой кожей, до которой можно было дотронуться и явственно ощутить, — в довершение всего они еще светились каким-то особым, благороднейшим опалово-матовым сия-

нием, в котором можно было видеть, вернее дорисовать в своем воображении, все внутренние органы этих чудесных созданий.

Я решительно помню, что уже в первую минуту заметил, как за стоящей передо мной обнаженной фигурой виднеется другая, такая же, просматривающаяся сквозь тело первой женщины, словно мерцающая туманность. Через шелковистую кожу и округлые формы просвечивал остов туловища, но он вовсе не был так вульгарен и отталкивающ, как скелет, красующийся под стеклом в наших клиниках; позвоночник этого существа казался выгнутым из тонкого желтоватого плексигласа и производил впечатление изящного и хрупкого рыбьего хребта. Ясно различались легкие — два голубых расплывчатых пятна и сердце — розовое пятнышко посередине. А в целом создание казалось прозрачной алебастровой статуей, в которой мерно бился пульс и непрерывно бежала по венам алая кровь, являя собой — в совокупности всех качеств — совершенный идеал легкости, изящества, утонченной красоты и напоминая ожившее белое облачко, готовое в любую минуту рассеяться.

Я был так потрясен красотой открывшегося мне зрелища, что готов был часами стоять недвижимо, если бы не неожиданное приближение ко мне дам. Признаюсь, я ждал, что моя необычная внешность — льщу себя надеждой, что с земным человеком они встречались впервые, — вызовет страх или, уж во всяком случае, удивление у этих слабых созданий, и я полагал, что стоит мне заговорить — словами или жестами, — как они дадут волю своему любопытству и забросают меня вопросами, откуда я прибыл, из какой страны, кто такой и т. д. и т. п., как это обычно бывало в моих предыдущих странствиях. Но ничего подобного не произошло. Моя персона действительно их заинтриговала, но совсем с иной стороны, чем я себе пред-

ставлял. Я привлек их интерес не как дальний пришелец и не как вестник незнакомых миров. Любопытство, с которым они меня рассматривали, не свидетельствовало ни об удивлении, ни о страхе. Мое лицо и фигура также мало их интересовали. Их внимание привлекла моя одежда: одно прелестное создание дотронулось до полы моей куртки и, приподняв ее, обменялось громким восклицанием со своими подругами. Те как-то странно хохотнули, после чего послышались другие неразборчивые возгласы, нечто вроде «Холи! Холе! Уй-йе!» и им подобных, которые можно воспроизвести только фонетически.

Я пробовал объясниться, повторяя одно и то же слово на различных языках. Потом, применив известный метод Берлица, указал на себя и произнес: «Человек». Но и это не возымело действия: стоило мне открыть рот, как очаровательные дамы на мгновение затихали (одна из них с завидной любознательностью даже изогнулась и заглянула мне в рот), но уже в следующую минуту они будто забывали, что я пытаюсь им что-то сказать, и продолжали шумно обсуждать мое платье, заставляли поворачиваться то вправо, то влево, беспрестанно издавая короткие гортанные звуки — совсем как птицы, запертые в клетке и беспокойно щебечущие и чирикающие. Уже тогда я заметил, что каждое восклицание сопровождалось у них особой мимикой: они то закрывали глаза, то высоко поднимали брови, то облизывали языком губы. Я совершенно опешил, убедившись, что они не обращают ни малейшего внимания на то, что я пытаюсь им сказать, — и в этот момент одна из милых дам взяла мою руку и, как будто это являлось самым обычным делом на свете, поднесла ее ко рту, вонзила зубы в мой большой палец и даже причмокнула, словно смакуя его.

Ее острые зубки прокусили палец почти до кости, и я невольно вскрикнул от боли. Услышав мой крик, дамы

подняли головы, отскочили в сторону, затем опять громко засмеялись и посмотрели на меня так, словно я наконец произнес нечто вразумительное и теперь можно без труда догадаться, кто я такой. Кое-кто попробовал подражать моему крику. А одна из них бесцеремонно схватила меня за руку и потащила за собой с такой силой, которую трудно было заподозрить в ее слабом теле. Остальные, что-то щебеча, устремились за нами.

Моя проводница стремительно влекла меня по широким коридорам. Я едва успевал разглядеть, что вдоль стен стояла разностильная странная мебель и висели различные безделушки, а коридоры были богато убраны коврами, люстрами и декоративными предметами. Но каково было мое изумление, когда, обернувшись, я вдруг увидел, как кое-кто из дам в сопровождавшей меня свите нет-нет да и остановится у какого-нибудь куска мебели и, мурлыча и втягивая носом воздух, легонько отломит кусочек, положит себе в рот и проглотит. Тогда я еще не подозревал, что в этой удивительной стране все предметы обихода сделаны из съедобных продуктов, чаще всего из сахара или шоколада.

Посреди зала, куда мы наконец пришли, стоял огромный стол овальной формы с большой хрустальной вазой в центре. Еще перед входом сюда проводница отпустила мою руку и вместе с другими, шумно выражая восторг, забегала вприпрыжку вокруг стола. На столе я увидел гигантское блюдо — это позволило мне предположить, что стол накрыт к обеду или ужину. Мои дамы, совсем позабыв про меня, жадно устремились к своим тарелкам. Признаюсь, мое тщеславие несколько покорило то обстоятельство, что я вызвал столь непродолжительную сенсацию. Мне оставалось только пожать плечами и, видя, что и это не вызвало никакой реакции, демонстративно сесть перед одним из свободных приборов.

Самая высокая из дам — та, что привела меня сюда, — наклонилась вперед и приподняла крышку над блюдом-суповником. Раздалось клокотание и шипение; королева (так я назвал про себя свою проводницу) протянула руку к блюду и вытащила из него какую-то черную колбаску — в следующую минуту я с ужасом убедился, что бросаемые друг за дружкой на тарелки дам «колбаски» корчатся и подпрыгивают, точно живые. Можно представить, как я был ошеломлен, когда и на мою тарелку бросили колбаску, в которой я без труда узнал одного из тех уродцев, что встретились мне на пути ко дворцу!

С отвращением и омерзительным чувством в желудке я украдкой покосился по сторонам, чтобы знать, что я должен делать и не опозориться. Моя соседка по столу не выказывала и тени смущения: взяв в руки лежащий рядом с тарелкой широкий и острый нож, она принялась потрошить подпрыгивающего маленького уродца — двумя пальцами прижала его головку к тарелке и хорошо натренированным, сильным движением нанесла ему удар ножом. Брызнула желтоватая мозговая жидкость, моя соседка собрала ее в ложку, с аппетитом всосала густую кашицу, а выжатую, сморщенную «колбаску» без лишних церемоний бросила под стол.

У меня вошло в привычку, в каких бы краях я ни очутился, приспособливаться к местным обычаям, даже если мой вкус и моя природа противятся этому. Я подумал также о том, что устрицы, например, которые у нас считаются великим деликатесом, вероятно, у них вызвали бы такое же отвращение, как у меня то, что с таким вожделением они сейчас поедали. И я героически поборол брезгливость и проделал ту же операцию со своей порцией еды, что и моя соседка по столу. Брызнул мозг — в ту же минуту извивающееся животное дернулось в предсмертной агонии и, сморщившись, замерло. Мною овладели такой ужас

и отвращение, что я чуть было не упал в обморок. Нож выпал из моих рук. Возможно, именно полубморочным состоянием была вызвана последовавшая за тем галлюцинация, но мне показалось, что я совершенно отчетливо увидел, как с тарелки на меня глянуло бледное человеческое лицо с закатившимися глазами, широко разинутым ртом и каплями холодного пота на изборожденном морщинами лбу.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Равнодушие аборигенов. — Язык Капилларии. — Ойхи. — Несколько слов о безграничном патриотизме автора, а также о природной глухоте. — Библия ойх. — Буллоки.

Лишь спустя несколько месяцев, к концу первой четверти времени моего пребывания в Капилларии, я осознал все значение первой трапезы, которая так меня поразила и привела в крайнее смятение. Не стану докучать читателю подробной историей этих нескольких месяцев, тем, как я, несмотря на свои сорок лет, научился дышать жабрами, как познал законы жизни этой страны, как после многих недоразумений и сюрпризов нашел отгадку необыкновенному воздействию, оказываемому на меня обитателями здешних мест, как распознал их привычки, как освоился среди них и как выучил их язык настолько, что впоследствии путем непосредственных контактов и обмена информацией смог получить подтверждение и новые доказательства всему тому, к чему поначалу я пришел посредством наблюдения и интуиции.

Мои достижения в этой области в значительной степени затрудняло то необъяснимое и почти непереносимое безразличие, с которым я был встречен обитателями этой страны. Уже с первой минуты можно было предположить — и это подтвердилось впоследствии, к нашему обоюдному удовольствию, — что земляне никогда еще не проникали в этот заповедный уголок океанского дна, по крайней мере никто из живых (что касается жертв кораблекрушений, то о них я скажу несколько позже). Приняв все это во внимание, я полагал, что мое появление в под-

водном царстве должно было быть таким же редчайшим и сенсационным событием, как, скажем, появление в один прекрасный день живого марсианина в Лондоне или Париже. Надо сказать, что в первые дни тщеславие мое сильно разыгралось — еще бы, на мою долю выпала редчайшая честь представлять от всего рода человеческого на форуме разумных существ, до сих пор и не подозревавших о людях. Внутренне я тщательно подготовил себя к тому, чтобы наилучшим образом разыграть эту трудную и в высшей степени ответственную дипломатическую роль: как позаботиться о том, чтобы прежде всего достойно обеспечить интересы моего дорогого отечества, как удовлетворить своим поведением и обращением вполне законное жадное любопытство туземцев и вообще как держать себя, находясь в центре всеобщего внимания?

Вскоре, однако, я вынужден был убедиться — не без горечи и уколов уязвленного самолюбия, — что вся моя психологическая подготовка была абсолютно напрасной. Прекрасные создания ничем не обнаруживали интереса к моей персоне, им было безразлично, кто я такой, откуда прибыл. Ощупав меня с ног до головы и, как я уже упоминал в предыдущей главе, даже укусив меня за палец, дабы понять, съедобен ли я и если да, то каков на вкус, дамы вскоре потеряли ко мне всякий интерес и, не обращая на меня ровно никакого внимания, продолжали на моих глазах жить своей непонятной, пустяковой, почти игрушечной жизнью.

После уже упомянутого обеда (который оставил меня совершенно голодным, так как я не сумел преодолеть брезгливость) я попробовал было еще раз привлечь к себе их внимание. Я встал и, будучи убежден, что туземный язык не принадлежит ни к одной из известных мне языковых групп, классифицированных в курсах наших уни-

верситетов, стал знаками и жестами объяснять моим со-трапезницам, что прибыл сюда из далекой страны и что главной моей целью является драгоценное для истории путеше-ствий изучение обычаев и общественной жизни неведомых стран, а с другой стороны, — информация о жизни землян, о чем обитатели других миров, вполне естественно, не могут иметь никакого представления.

Но уже при первых словах моей страстной речи я почувствовал, что меня не слушают. Меня то и дело перебивали какими-то короткими, птичьими восклицаниями, по-том одни дамы вскочили из-за стола и начали танцевать, другие принялись сосать конфеты. В конце концов все общество покинуло стол и с шумом перебралось в соседний зал, оставив меня одного в полном смущении и растеряности.

Тому, кто женат или, на худой конец, сравнительно долгое время имел дело с женщинами и знает женский характер, знакомо это странное чувство, возникающее в человеке в тот момент, когда он начинает о чем-то серьезно рассуждать, строит целую систему логических предпосылок, и в самый кульминационный момент, когда он готов сделать выводы и обобщения, венчающие его блистательную аргументацию, милостивая государыня, то бишь его супруга, вдруг заявляет: «Пardon, одну минутку» — и бежит на кухню или, того лучше, заглядывает в магазин дамского нижнего белья, что напротив, а затем, через полчаса, снова возвращается к нему и, застав его в том же стоячем положении, на том же месте, с нетерпением примется ждать, когда же он, наконец, закончит свою болтовню. По ее пустым репликам, по всему ее поведению он, огорченный, понимает, что у нее нет ни малейшего представления о том, что он говорил в тот момент, когда она оставила его с носом. Задумавшись, он совестится напомнить своей собеседнице, о чем, собственно, шла речь,

и вдруг начинает чувствовать, что, вероятно, все это не так уж и важно, ибо в противном случае вряд ли она забыла бы об этом с такой легкостью.

Таким образом, все, что мне удалось узнать о жизненном укладе и законах в Капилларии, все, о чем я собираюсь поведать читателю, является плодом моих личных наблюдений и выводов, без какого бы то ни было вмешательства со стороны: никто не задавался при мне вопросом, узнаю ли я все то, что мне нужно, никто никоим образом не спешил мне на помощь, более того, сомневаюсь даже, замечал ли кто-нибудь мое присутствие.

Капиллария, или страна женщин, как я назвал ее сам для себя, занимает территорию на дне океана между Соединенными Штатами Америки и Норвегией, на глубине около четырех тысяч метров. Благодаря теплым течениям почва океанского дна здесь необыкновенно плодородна для развития животного и растительного мира. Изучение фауны и геологические исследования позволили мне заключить, что биосфера океана является древнейшей биосферой нашей планеты; она возникла миллионы лет назад, в те незапамятные времена, когда большая часть суши представляла собой выжженную необитаемую пустыню. Уже тогда в океане — этой прародине всего живого — обитало неисчислимое множество различных видов и классов живых организмов. Когда, с какого времени появились здесь человекоподобные существа, я так и не выяснил. Жители Капилларии, ойхи, как они себя называют, не признают исторической науки и не ощущают потребности в культе традиций. Что же касается типа их организма (мне очень трудно найти подходящее слово), то главной его особенностью является не столько отличие от человека, сколько тот удивительный факт, что все ойхи — существа однополые, а именно, в чем мне представилась неограниченная возможность убедиться, существа женского пола,

или, если угодно, самки. Более того, они являются таковыми в самой ярко выраженной и законченной форме; это обстоятельство я спешу подчеркнуть, с тем чтобы наши ученые не приравняли их к примитивному типу однобрачных существ, размножение которых происходит по образцу низших хордовых организмов посредством самооплодотворения или спорообразования. Об этом, как я убедился, не может быть и речи — размножение у ойхи происходит тем же способом, как и у любого двуполого млекопитающего высшего типа, с той, однако, разницей, что...

И здесь я должен временно остановиться, дабы предположить некоторое пояснение, сделать несколько предварительных замечаний, с тем чтобы не оскорбить чувств моих любимых соотечественников, и особенно гордого племени мужчин, к которому я сам имею честь принадлежать, чтобы они не обвинили меня в нагромождении ложных и недостойных объективного путешественника сведений, либо в искажении наблюдаемых фактов, ошибочное и поверхностное истолкование которых привело меня к утверждению, что в природе якобы существуют явления, которые подрывают высокий и благородный авторитет мужчин, подвергают сомнению их господство над миром, выставляют в неприглядном свете того, кто в действительности является творцом и властителем всего сущего на Земле, чью беспредельную храбрость и прочие совершенства именно в наше время славно подтвердили многочисленные победные сражения, штурмы, блистательные атаки, отважное презрение к смерти и сама героическая смерть на поле брани. Дай бог, чтобы меня как минимум поняли в том смысле, что я, скромный путешественник и хирург, не ищущий иного призвания, как развлечь своими бесхитростными историями наших доблестных солдат, моих храбрых английских однополчан в редкие минуты отдыха; дай бог, чтобы мои

прекраснодушные соотечественницы тоже с интересом прочитали бы эти путевые заметки — я счел бы тогда, что достиг большего, нежели заслужил. Но превыше всего для меня истина, ибо я, к сожалению, не наделен от природы ни красноречием, ни фантазией и потому вынужден компенсировать перед читателем отсутствие этих прекрасных природных качеств тем, что скрупулезно собираю во время своих странствий скромные факты, которые, быть может, и не интересны, но по крайней мере надежны и истинны, в чем легко может убедиться каждый, кто захочет их проверить.

Итак, еще раз умоляю мужскую половину моих образованных читателей с научной объективностью подойти к объяснению порой весьма странных шуток природы и не принимать близко к сердцу все то, чему она учит, — будем же снисходительными к природе, которая, как нам известно, не отягощена даром разума и мудрого предвидения, украшающего венец ее создания — человека: ведь природа не кончала университетов и не имеет докторского звания и дипломов, природа необразованна и безграмотна, она прозябает в неведении и самообмане. Так простим же ей то, что она позволяет себе порой играть грубые и плоские шутки, нередко переходя ту грань, за которой наступает просто невежливость по отношению к джентльмену и — еще того хуже — по отношению к британской конституции и законодательству, о которых, как почему-то мне кажется, она просто не имеет элементарных понятий.

Я имею в виду такие шутки природы, как, например, сотворение известных видов низших животных, обитающих главным образом в морях, женские экземпляры которых по размерам значительно превосходят мужские и являются более развитыми, чем последние, что противоречит, казалось бы, всем правилам приличия. Есть также вид

морских пауков, самки которых в двадцать, а то и в тридцать раз больше самцов, вследствие чего они имеют, прямо скажем, варварский и бесчеловечный обычай, более того — правило: самки хватают и заглатывают самцов, стоит только тем показаться им на глаза (хотя самцы всячески пытаются уйти из их поля зрения), когда инстинкт продолжения рода заставляет их искать свою пару. Аналогичную картину наблюдали у одного вида рыб: самцы этого вида по сравнению с самками настолько малы, что в страхе перед последними постоянно пребывают в их анальном отверстии и подстерегают удобный случай, чтобы проникнуть в деторождающие органы самки, благо они располагаются по соседству, а не, например, между глаз — это позволило бы безжалостной хищнице проглотить самца, прежде чем он исполнит свой долг.

Mantis religiosa (жук-богомол), например, именно так и поступает: во время совокупления самка поворачивается и откусывает голову гораздо более слабого и менее развитого самца — не правда ли, довольно странная, мягко выражаясь, привычка религиозной жучихи? Я мог бы привести бесчисленное множество других примеров в подтверждение того, что одно замечание королевы ойх Опулы, с которой однажды я имел честь дискутировать по этому поводу, если и не простительно, то, во всяком случае, вполне объяснимо.

Эта примечательная женщина, будучи настоящей ойхой, не признавала ни истории, ни традиций. Однажды, когда я рассказывал ей о нашей истории и главным образом о священных канонах библии (речь как раз шла о том, как бог создал человека), она немало удивилась тому, что мы представляем себе дело таким образом, будто сначала бог сотворил мужчину, Адама, и тот из одной части своего тела, а именно, по свидетельству библии, из ребра, сделал женщину, Еву. Эта легенда, на ее взгляд, находит-

ся в вопиющем противоречии с законами природы и всем жизненным опытом. Если уж заниматься такой беспредметной символикой, в которой лично она не чувствует никакой потребности, то она представила бы дело единственно возможным образом, а именно: вначале была Ойха (на их языке это означает Человека, совершенную Природу и даже более того), то есть существо, подобное обитательницам Капиллари, которое оплодотворялось и размножалось само собой, как это и посейчас можно наблюдать у ряда низших организмов.

Позднее, из соображений удобства, а главным образом из эстетических соображений (которым, замечу от себя, ойхи придают первенствующее значение), прародительница ойх выделила из своего тела и окончательно избавилась от причинявшего ей разные неудобства безобразного органа, с помощью которого в ее организме легко происходило самооплодотворение. И с тех пор этот орган, который мы чванливо и самонадеянно зовем «самец», хотя он на самом деле является особым живым придатком самки, словом, с тех самых пор этот орган живет, вернее паразитирует, в окружающей ойх среде; не имея самостоятельной функции, он пребывает в постоянной, ненасытной тоске и желании вновь соединиться с телом, от которого был оторгнут как недостойный.

Не премину заметить: это ужасное и столь оскорбительное для нас, мужчин, заблуждение королевы объясняется фактором, на котором я подробнее остановлюсь в следующей главе, а здесь коснусь лишь суммарно. Речь идет о том, что в Капиллари самец, у нас являющийся гегемоном, прошел обратный путь развития. Он совершенно деградировал, превратился в атрофированного уродца и влачит свое существование в качестве всеми презираемого и униженного домашнего животного: его тело составляет едва ли одну пятидесятую часть тела ойхи, и вся его

жизнь подчинена удовольствию и развлечению ойх. Это крохотное домашнее животное они называют буллоком, и я прошу читателя воздержаться от тошноты, если теперь сообщу, что маленькие уродцы, которых я видел в щелях круглой башни по дороге ко дворцу и которых несколько позднее вновь лицезрел на своей тарелке за пиршественным столом, и были теми самыми буллоками в натуральную величину и в своем подлинном виде.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Особенности языка ойх. — Этимология слова «ойха». — Опула, королева ойх, выказывает автору свое особое расположение. — Несколько замечаний об угнетенном положении европейских женщин.

Если все же мне удалось собрать некоторые важные сведения, к которым я пробился только посредством устных бесед, и, с другой стороны, если благодаря разъяснению своих хозяек я могу в какой-то степени сопоставить общественное и государственное устройство Капилларии и европейских стран, то все это сделано не благодаря, а скорее вопреки готовности ойх оказать мне такого рода услугу — всего этого я добился с помощью хитроумных маневров и приемов.

В первые недели, когда я усиленно проникал в дух и суть языка ойх, я готов был уже поверить, что мы никогда не пойдем друг друга. Этот язык — один из своеобразнейших языков, которые мне когда-либо приходилось изучать. Слова и выражения, обозначающие абстрактные понятия, в нем отсутствуют — ойхи обозначают словами только вполне конкретные, осязаемые предметы; более того, слова, обозначающие эти предметы (вы чувствуете, как трудно мне выражать свою мысль?), охватывают, собственно говоря, не сам предмет, а скорее те чувства, те эмоции, которые соответствующий предмет пробуждает в мире настроений ойх, причем с определенной эмоциональной окраской; короче говоря, язык ойх состоит исключительно из эмоциональных восклицаний.

Гибкость и разнообразие языковых средств ойх обеспечиваются тем обстоятельством, что одно и то же слово имеет различные акценты и окраску, изменяющие его смысл. Для примера сошлюсь на лексикон младенца: междометие «а» или «уа» в зависимости от того, как его произнес ребенок, может означать и радость и раздражение, желание чего-то или, наоборот, отказ. Само слово «ойха» в строгом смысле тоже есть не что иное, как эмоциональное восклицание, и если транскрибировать его фонетически точно, то я должен был бы каждый раз ставить на конце восклицательный знак; слово «ойх» — крик радости и наслаждения, которое испытывает уроженка Капилларии от самого ощущения, что она живет, дышит и что благодаря своей красоте и жизнелюбию она способна опьяняться прелестями жизни, которые раскрывает перед ней мир и она сама в этом мире.

Ибо — пользуюсь случаем еще раз подчеркнуть — жизнь ойхи проходит в вечном коловращении вокруг радостей и утонченных наслаждений. Подобно тому как их язык приспособлен исключительно для выражения эмоций и нюансов настроений, их деятельность и все поступки направлены лишь на то, чтобы держать нервную систему и душевную настроенность в том высоком напряжении, которое для жуира тождественно цели и смыслу жизни.

Буквально все в их мире служит тому, чтобы ублажать их чувства; с другой стороны, каждый орган их чувств в высшей степени чувствителен к различным внешним раздражителям, которые, скажем, для европейца имеют значение лишь при соблюдении особых условий. Так, например, я лично видел, как одна из привилегированных ойх впала в настоящий сладострастный транс, сопровождаемый потоком слез, при одном виде куска алого шелка: карминный цвет тонкого лоскута оказал на нее такое же воздействие, как самое горячее любовное признание, мо-

гущее когда-либо вскружить голову лондонской или парижской великосветской даме. Подобное опьянение чувством способна вызвать в мире ойх музыка, исполняемая на особых инструментах, и в еще большей степени дегустация тонко приготовленных яств и блюд, которые каждый раз придают трапезе оттенок настоящей оргии, превращая еду в своего рода культ. Если к тому же учесть, что постоянное волнение и касание воды, которая, как известно, тяжелее воздуха, оказывает щекочущее воздействие на всю поверхность их чрезвычайно чувствительной и нежной кожи, заставляя трепетать буквально каждую пору, то можно без преувеличения сказать, что ойхи с момента своего рождения и до самой смерти ни на секунду не испытывают недостатка в том редком, наэлектризованном состоянии, которое мы привыкли называть словом «блаженство» и которое означает высшую степень телесного наслаждения.

Что касается любовной жизни ойх, то я пока воздержусь от подробного рассказа о таинственном способе, посредством которого они заботятся о продолжении своего рода, и отмечу только тот факт, что любовь у них не имеет ничего общего с этим последним понятием; для них любовь — самоцельное искусство наслаждения, которое возникает в преклонении и обожествлении двух существ без какой бы то ни было задней мысли, имеющей своим последствием появление на свет третьего существа, т. е. ребенка. И в этом, как и во всем прочем, ойх интересует единственная цель — высшее чувственное наслаждение, приобретающее характер почти коматозного состояния. Говорить более подробно и детально об этом я затрудняюсь, ибо почти невозможно выразить на европейском языке суть их любовных занятий, без того чтобы это описание не выглядело запрещенной пропагандой эротики, хотя на языке ойх и применительно к их чувствам и понятиям

любовный акт в Капилларии представляется чистейшим и благороднейшим культом наслаждения и радостей, сравнимым у нас разве что с культом музыки и поэзии, который в нашем обществе не только не запрещается сильными мира сего, но, напротив, пользуется их поддержкой и вниманием.

Живя в Капилларии, я и не помышлял, что все, что я вижу и слышу вокруг, может быть расценено как безнравственная, непристойная распущенность. Я воспринимал жизнь ойх как высочайшее и целомудреннейшее материальное проявление живой души, находящейся в состоянии, похожем на необыкновенно пленительный сон, — именно так сами ойхи воспринимали жизнь и пользовались ею.

Таковы несколько предварительных замечаний, сделанных мною лишь для того, чтобы читатель понял, почему я вынужден был прибегнуть к известным уловкам — о чем теперь искренне сожалею, — дабы, не ограничиваясь пассивным наблюдением, привлечь к собственной персоне интерес абсолютно индифферентных ойх.

Кажется, я уже упоминал, что королева ойх Опула почтила меня особым расположением и даже дружбой, разрешив находиться в ее свите и по мере возможности развлекать ее. Развлечение столь высокопоставленной и избалованной особы оказалось делом не таким легким, как может показаться моим соплеменникам, особенно если принять во внимание, что все то, чем обычно мы развлекаем дам у себя в Европе, в глазах местных обитательниц не имеет ни малейшего интереса. Вскоре я заметил, что ее величество склонна выслушать только ту логическую или образную информацию, которая хоть в какой-то степени связана с чувственным раздражителем, — и тогда я попробовал во время беседы настолько приблизиться губами к ее прозрачному, миниатюрному и похожему на чайную розу уху, что мое дыхание постоянно приводило в

дрожь нежную раковинку. Спустя некоторое время я, опустившись на колени, нашел еще более нежную точку и достиг, наконец, полнейшего эффекта.

Я был поражен тем обстоятельством, что, казалось бы, столь примитивный, состоящий из одних восклицаний язык при определенных условиях способен выразить самые сложные понятия — все, о чем я хотел рассказать, королева схватывала быстро, легко и совершенно точно, как если бы свою речь я произносил по-английски почтенной миссис Пэнкхерст, например, или мисс Эллен Кей, которые, как известно, в процессе своей деятельной кампании за эмансипацию женщин изрядно поднаторели в искусстве витийства и дискуссий.

Вышеописанным способом я, правда весьма суммарно, сумел ознакомить ее величество с основными научными принципами, дающими представление о положении европейских женщин в ходе исторического прогресса. Откровенно и без всякой утайки я поведал о печальном угнетении женщин в нашем обществе, чудовищные масштабы которого чреваты опасными последствиями, как о том нас предупреждают новейшие исследования ученых. Веками мужчины отнимали у женщин все те права, гарантировать которые является священным долгом любого цивилизованного общества.

Мужчины присвоили все жизненные льготы и продолжают ревниво держать их в своих руках по грубому праву сильного, которому все дозволено по отношению к слабому полу. Женщинам не разрешалось ровным счетом ничего из того, чем постоянно пользовались мужчины. Женщины не могли работать и получать образование — только мужчине предоставлялось право день-деньской надрывать свое здоровье в сумасшедшем, титаническом по напряжению труде, притупляющем все человеческие чувства и гибкость души. Мужчины имели право жениться, плодить детей,

содержать семью — женщины же были лишены этих прав.

Но самой вопиющей несправедливостью, от постыдного злоупотребления которой именно в наши дни особенно стонут униженные и угнетенные женщины, является то обстоятельство — мне даже было стыдно признаться в том ее капиллярскому величеству, — что европейские женщины освобождены от воинской повинности, узурпированы в святом и высоком праве, которым пользуются в наши дни мужчины всех без исключения стран Европы, вместе и порознь; Мужская половина каждой страны в отдельности получила сегодня право защищать границы своей родины, подвергшейся нападению вероломного и треклятого врага. Англичане, французы, немцы, русские, мадьяры, австрийцы, сербы — все имеют равное право защищать друг от друга свою родину, подвергшуюся (разумеется, внезапно) нападению коварного противника, — все, кроме женщин, у которых ни в чем и нигде нет никаких прав.

Закрепощение женщин, естественно, привело, согласно законам диалектики, открытым учеными мужами, к деградации их и к отсталости; они, женщины, духовно регрессировали и опустились, как то в высшей степени убедительно показали нам великие пессимисты современности Стриндберг, Ибсен, Вайнингер и другие.

За долгие века угнетенного положения, пока за них трудились мужчины, женщины, лишённые возможности работать на других и уставать за других, вынуждены были заниматься самими собой, вследствие чего они в красоте и изяществе превзошли мужчин, и тем самым им не оставалось ничего иного в их отчаянно безвыходном положении, как только пользоваться радостями жизни без того, чтобы взять на себя хотя бы часть ее тягостей. Если для мужчины цель, смысл и назначение в жизни во все времена устанавливала жестокая необходимость, застав-

лявшая их заниматься не тем, что человек желает всей душой, а тем, к чему принуждают его житейские обстоятельства, то есть трудиться в поте лица ради пользы других, которые, пока это им выгодно, милостиво позволяют и ему влачить жалкое существование, то женщины, бедняжки, вынуждены жить в собственное удовольствие, позволяют любить себя и лелеять, да к тому же еще обречены на вечное страдание от избытка жизненных утех.

На вопрос ее величества, какой труд обеспечивает мужчинам наибольшие возможности для процветания, я упомянул нескольких богатых и уважаемых друзей, а затем, вкратце изложив их жизненный путь, заключил, что в качестве врачей, адвокатов, учителей, предпринимателей и художников эти джентльмены напряженным трудом добились достойного места в обществе и почета; общественное мнение окружает ореолом тех славных мужей, кто поставил все свое накопленное состояние на красивую, из хорошего дома жену, кто может дать приличное приданое своим дочерям, прежде чем попадет в милостивые объятия смерти, чтобы отдохнуть, наконец, от трудов праведных.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Автор пытается убедить королеву в высоком предназначении мужчин. — Наука и литература. — Несколько слов о постройках в Капиллари. — Одежда ойх. — Чем питаются ойхи? — Плантация буллоков.

Страстные приверженцы женского равноправия, борющиеся по всей Европе против отнюдь не столь уж печального положения женщин, наверняка удивятся, а возможно, даже не поверят тому, что Опула, королева ойх, посвятившая жизнь поискам радостей и наслаждений, играм и сладостям и, следовательно, по нашим представлениям, живущая невообразимо бедной и примитивной духовной жизнью, с непостижимой быстротой ухватила смысл и значение тех сложных проблем, с которыми сталкиваемся мы, жители суши, и которые я изложил ей. Это тем более удивительно, если учесть, к какому постыдному и унижительному способу я вынужден был прибегнуть, чтобы через ее чувства хоть как-то проникнуть в совершенно безучастное сознание ойх, и все это при помощи языка, вернее, звуков, состоящих исключительно из вздохов, охов, ахов, восклицаний и вызывающих скорее эмоции, нежели логические представления.

Я и сам немало удивился, когда по ходу моего повествования она вдруг одернула меня, сладко потянулась и, кинув взгляд из-под длинных ресниц, сделала знак остановиться: мол, она все поняла и я могу надеяться. Последнее замечание я не совсем уразумел — в какой связи оно находилось с моим вполне объективным рефератом? Но у меня не было возможности задуматься над этим, так

как ее величество Опула перевела разговор на другую тему.

Она дала мне понять, что я болтал много лишнего, и совершенно ошеломила заявлением, что у меня абсолютно ложные представления об отношениях двух полов человеческого рода. Из моего рассказа она ни в коей мере не может заключить, что наши женщины угнетены, и вообще она не понимает, что́ я имею в виду, говоря об «угнетении». Правда, земные женщины, как я их описал, живут не так хорошо, как ойхи, но у ее величества сложилось впечатление, что наши мужчины живут и того хуже и стоят на еще более низкой ступени развития, находясь по отношению к женщинам на положении прислуги.

Столь неожиданное заключение, утверждавшее прямо противоположное действительности, так меня огорчило, что я начал горячо и даже зло протестовать. Опула с улыбкой выслушала меня и, помолчав, попросила объяснить, чем я мотивирую свое заявление, будто мужчины на Земле более развиты и свободны, а потому именно их следует считать элитой человечества. На каком основании я считаю, что именно они определяют человеческий прогресс и руководят движением человеческого общества к будущему, к лучшей и совершенной жизни?

Счастливым от сознания, что могу, наконец, рассказать о гениальных умах моего пола, я с ходу назвал несколько имен, которым принадлежат величайшие открытия, идеи, изобретения, теории, которые, с одной стороны, содействовали материальному развитию человечества, а с другой — помогали осуществить духовные запросы и чаяния людей, рвущихся к высоким целям. Я рассказал о гениальных естествоиспытателях, в лабиринте абстрактного царства логики открывших такие взаимосвязи, которые позволили людям преодолеть сопротивление неживой материи и передвигаться по суше, в воздухе и на воде сво-

боднее и быстрее, чем любое другое земное существо. Я поведал о том, что в результате эволюционированного многовекового труда Человека сегодня можно рассматривать как высшее проявление жизни; в своем лице он сконцентрировал все, что природа выработала в тысячах тысяч других форм живого: ему присущи одновременно свойства и млекопитающего, и насекомого, и рыбы, и птицы. Всем этим мы обязаны прежде всего мужской половине рода человеческого, на протяжении столетий с поистине муравьиным тщанием и упорством собиравшей и складывавшей кирпичики того грандиозного здания науки, откуда человек будущего сможет взирать на весь земной шар и достанет рукой до звезд. Здание это растет, становится все более могучим и грандиозным и вскоре достигнет небосвода, того самого престола Неизвестной Силы, которую Кант назвал категорическим императивом, того престола Высшей Силы, который род людской призван завоевать и освоить.

Чтобы сделать образнее и доходчивее эту абстрактную картину, я обрисовал обсерваторию на вершине высокой голой горы, вдаль от суетной жизни, в наивысших слоях беспредельного воздушного океана. Стеклоанный купол этой обсерватории, точно огромный глаз, обращенный к небу, уставился на мерцающие звезды; через его зрачок наблюдает звезды одухотворенный человек: это седовласый муж, отрешенный от низменных телесных страстей и материальных забот: вся его жизненная энергия, каждое биение его сердца устремлены в божественную, почти абстрактную точку, находящуюся в фокусе линз телескопа, которая чем меньше, тем сильнее, тем больше увеличивает и приближает Недостижимое.

Я описал и самого ученого, этого идеального Мужчину, Рыцаря Будущего, Фаворита Неизвестности, который, переступив порог тюремной камеры своей личной суетной

жизни и подавив в себе инстинкт самосохранения, представляет все человечество, борется за весь человеческий род и терзает себя тем, что должен стать больше, чем есть на самом деле и чем был рожден.

При этих словах королева снова прервала меня и со свойственной ей наивной простотой и простодушным трюизмом, но в то же время с неотразимой ясностью и прямо-той спросила, что значит «стать больше, чем есть» и как это выглядит в натуре. Весьма осторожно и в некотором смущении я попытался объяснить, что этого пока еще не знает и сам Идеальный Мужчина, но считает своим святым долгом познать и приблизиться к этому. Он заполняет дни и ночи напролет тем, что беспрерывно учится, читает, пытается понять все, что в глубине веков открыли и собрали давно усопшие предшественники, — и все это с пламенной верой, что однажды если не он сам, то кто-нибудь из его будущих духовных сподвижников достигнет того, к чему он стремился. Я рассказал о книгах, которые писали древние, собирая в них все, что наблюдали и испытывали за свою короткую жизнь. Эта постоянно растущая книжная пирамида, с вершины которой сверзаются и разбиваются насмерть ее строители, притягивает к себе все новые и новые поколения живущих, которые упорно пытаются взобраться на нее, с тем чтобы на закате жизни, когда, наконец, они достигают ее вершины, возвести своей мыслью новый этаж. И до тех пор будет расти эта пирамида Восприятия и Познания, пока в конце концов не достигнет Неизвестности, о которой мы уже говорили.

Здесь ее величество сделала знак остановиться и снабдила мой рассказ комментарием, который, с одной стороны, с комической прямолинейностью истолковывал мою метафору, а с другой — с непреложной очевидностью свидетельствовал о ее недюжинной способности к прикладной математике. Она заметила, что пирамида, о которой я рас-

сказывал, не может вечно расти ввысь. Ведь человеческая жизнь — не важно, идет ли речь о мужчинах или о женщинах, — в среднем не превышает пятидесяти-шестидесяти лет, имеются даже признаки, что со временем она будет укорачиваться. Теперь, если согласиться со мной и принять, что пирамида знаний неуклонно растет, мы вскоре окажемся перед малоутешительным фактом: вновь рожденные «каменщики», прежде чем они доберутся до ее вершины, состарятся и у них не останется ни сил, ни времени, чтобы продолжать строительство. Придется все начинать сначала. Со своей стороны она, Опула, предложила бы другое: прежде чем возводить пирамиду, не лучше было бы направить все силы, все способности мужчин, которыми я так восхищался, на то, чтобы человек, на протяжении жизни вбирающий в себя все большую сумму знаний и учености, не погибал бы в свои пятьдесят-шестьдесят лет, унося в Ничто весь накопленный опыт и всю премудрость, собиравание которой новорожденный вынужден будет начинать с самого начала.

Вообще говоря, из всего, о чем я распространялся, ее величество, как она выразилась, почерпнула мало что интересного. (На языке ойх «понятно» и «интересно» выражаются одним словом.) Ее внимание привлекла лишь одна картина, и то главным образом потому, что напомнила ей хорошо знакомые вещи. Речь идет о башне обсерватории, но не о ее сверкающем стеклянном куполе, а о самом основании — просторном, покоящемся на колоннаде зале, который рисовался ее воображению.

И королева, подключившись к моему рассказу, вкратце, но весьма толково поведала мне, наконец, о том, о чем я лишь смутно догадывался, а именно о происхождении в Капилларии помпезных дворцов и массивных замков с, как ни странно, незаконченной строительством кровлей, о причинах удивительного сочетания монументальных за-

лов и балюстрад с интерьером, украшенным хрупкими безделушками, о воздушных одеяниях — и вообще о том роскошном излишестве, которое могло явиться только результатом напряженного труда, хотя никаких следов работы, приложения каких бы то ни было усилий, наконец, просто занятий чем-либо полезным я со стороны ойх при всем старании не обнаружил.

Только из объяснений королевы я узнал, что все в Капилларии строят буллоки, те самые маленькие, устрашающие уродцы, о которых я даже подумать не могу без содрогания. С какой целью они все это делают, ойхи не знают, да их это и не интересует — они никогда не анализировали причин явлений, их может интересовать само явление как таковое, да и то лишь в той мере, в какой данное явление затрагивает их органы чувств. Известно, однако, что буллоки — эти захиревшие, убогие члены, вернее, домашние животные общества ойх — с незапамятных времен упрямо трудятся, прилагают невообразимые усилия во имя неизвестных целей, не имеющих ничего общего с их жалким материальным существованием, ибо они не только самих себя, но и своих потомков приносят в жертву этим усилиям. Мне не раз приходилось видеть их за работой: они принимались строить огромные здания, закладывая такой глубокий и основательный фундамент, требующий колоссального труда, что, казалось, в законченном виде вся конструкция, покоящаяся на такой основе, должна иметь поистине фантастический вес. Я кое-что смыслю в архитектуре и берусь засвидетельствовать, что все постройки, в которых жили ойхи, по существу были незавершенными строительством колоссальными дворцами с башнями, огромными коллизеями, которые так и остались недостроенными.

Опула разъяснила, что я был недалек от истины: буллоки действительно бросали строительство дворцов не по

своему желанию и сознавали, что они незакончены, но вынуждены были оставлять работу в тот момент, когда ойхи находили постройку уже вполне пригодной для жилья. Как высоко буллоки возвели бы здание, если бы им дали его закончить, установить до сих пор не удалось, так как ойх никогда не интересовал этот вопрос. Они просто выжидали, когда постройка достигнет известной высоты и станет вполне пригодной для их жилья, а затем опрыскивали все помещение сильно пахнущей жидкостью (по аромату, кстати, очень напоминавшей духи, которыми пользуются наши дамы). Буллоки-строители тут же подышали от этого запаха, их выметали за порог, и ойхи занимали новый дворец. Оставшиеся в живых буллоки тут же закладывали фундамент для нового здания, и так продолжалось веками, в результате чего в Капилларии теперь насчитываются тысячи недостроенных дворцов и обитаемых замков, находящихся в полном распоряжении ойх.

На мои жадные вопросы королева, безучастно пожав плечами, ответила, что жила однажды больная ойха, помешанная на идее, будто знает язык буллоков и даже может разговаривать с ними. Эта несчастная, которую впоследствии уничтожили ее подруги за преступную связь с грязными уродцами, утверждала, что буллоки как-то объяснили ей значение строительства этих дворцов. В сознании этих презренных червей укоренилась навязчивая идея, будто бы над их плотной и текучей средой (то есть над водами, давящими на океанское дно) существует другой, более разреженный, более светлый и несравненно более обширный и свободный мир, чем тот, в котором они живут, и пробиться к нему можно лишь при условии, если достигнуть поверхности моря. И буллоки объединились, с тем чтобы соорудить такую башню, которая поднимется над водой и вынесет их на поверхность океана, где они смогут соединиться с божественными существами, которые насе-

ляют те дальние-дальние сферы. Однако, как мы видим, башню им никогда не достроить — в самом разгаре строительства ойхи завладевают ею, и буллки вынуждены все начинать сначала. Сопоставив печальную их участь с участью наших пчел, я перестал задавать вопросы.

Выяснилось также, что буллки не только обеспечивают ойх жильем, но и снабжают их одеждой; более того — мне уже приходилось об этом говорить, хотя и с непреодолимым чувством отвращения, — они служат для ойх пищей. Тончайший, почти воздушный шелк, покрывающий прозрачные тела ойх, производят самые зрелые буллки, причем почти таким же образом, каким у нас добывают шелковую пряжу. Достигший преклонного возраста буллок при нормальных условиях (если его раньше не употребили в пищу или не отравили духами) окукливается. Происходит это таким образом: он выпускает изо рта тонюсенькую длинную черную нить, чтобы кокон получился плотным и непросвечивающимся. Ойхи — аналогично тому как мы поступаем с шелковичным червем — опускают кокон в горячую воду, куколка погибает, а пряжу распускают на нити. Как-то такая пряжа попала ко мне в руки, я припрятал часть ее, а когда проделал химический анализ, к своему удивлению обнаружил, что по составу она близка к нашим чернилам или типографской краске.

Сравнительно очень немногие буллки доживают до преклонного возраста, когда из их мозгового вещества вырабатывают важнейшее сырье для «ойховских» нарядов. Обычно их умерщвляют значительно раньше — ведь мозг буллоков является главным продуктом питания уроженцев этой страны, почти лакомством, а кроме того, он играет еще одну важную роль в жизни ойх, о чем — правда, не без колебаний — я скажу несколько позже. Пока же упомяну лишь об одной специфической особенности этого продукта.

Из моего описания первой совместной трапезы с ойхами читатель, верно, помнит, каким способом выжимали ойхи мозговую жидкость из головок буллоков. Однако только значительно позднее я узнал, что мозг буллоков как лакомство и десерт может быть приготовлен различными способами. Ее величество сообщила мне, что в сыром виде и без предварительной обработки он гораздо более низкого качества. Но существует известное средство, которое, если его скормить буллокам, превращает мозг этих уродцев в изысканнейший деликатес. Это средство, к сожалению, добывается не на дне океана: оно время от времени спускается с морской поверхности на дно и представляет собой слоеные, многолистные формы, испещренные маленькими черными точечками.

И королева показала мне одно из этих удивительных растений. Я даже вскрикнул: это была научная книга (если память мне не изменяет, «Так говорил Заратустра» Ницше), разбухшая от воды и в совершенно неудобочитаемом виде. Вероятно, она вместе с другими книгами попала сюда с какого-то затонувшего корабля. Опула разъяснила мне, что предназначенных к съедению буллоков ойхи несколько недель вволю откармливают этим растением, чтобы их мозг приобрел приятный вкус и легко усваивался организмом.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Земная любовь. — Владыка всего сущего. — Красота и борьба. — Борьба полов. — Женщина как предмет наслаждения. — Несколько замечаний Опулы и оторопь автора. — Истребление буллоков. — Объективное описание и характеристика некоторых типов буллоков.

При следующей нашей встрече ее величество призналась, что поймала себя на каком-то новом и очень приятном, дурманящем ощущении, вызванном моим последним рассказом (как известно, всевозможные варианты радостей в их наисложнейшем сочетании имеют первостепенное значение в искусстве жизненных утех жительниц Капиллари).

Опула попросила меня подробнее рассказать о тех существах, которые, судя по моим описаниям, сравнительно близко стоят к «чувственным натурам» (слово «сознание» у ойх заменяется словом «чувство», выражающим высшую форму проявления жизни), то есть к ним самим, и которых я назвал «женщинами», вызвав тем самым у нее известные ассоциации, в чем я имел возможность убедиться (это лишний раз доказывает, что язык ойх восприимчив к передаче определенных понятий).

Будучи весьма образованным мыслителем, сведущим в вопросах методики, я сразу понял, что мою собеседницу интересует не общественное положение наших женщин, а сама женщина как таковая, в земном смысле этого слова, то есть женщина в ее связи с мужчиной, иными словами — любовь. Это последнее понятие или состояние мне не надо было раскрывать перед Опулой: чувство это она

отлично понимала сама, ибо, как я уже упоминал, ойхи почти поголовно влюблены друг в друга.

Я был совершенно искренен и вовсе не желал заискивать перед моей собеседницей, когда предпослал своему рассказу вступление о том, что не только не знал, но даже никогда не грезил на земле моей горячо любимой отчизны, славившейся красивыми женщинами, о таком расцвете женской красоты, вернее, о стольких возможностях прекрасного, сколько мне довелось увидеть в Капилларии. Вместе с тем я невольно признал, что и на Земле главной характерной чертой и отличительным свойством разбираемого нами слабого пола — по крайней мере в глазах мужчин — являются красота и обворожительность, которая более всего действует на мужчину. Я хотел было перейти к понятийному определению «красоты», процитировав несколько относящихся к этому вопросу вечно действующих формулировок Лейбница, Канта и Шопенгауэра, но Опулу это нисколько не интересовало. Заданные ею по ходу моего рассказа наводящие вопросы относились, собственно, к одному: неужели понятия «красота» и «женщина» слитны в нашем мышлении (разумеется, на присущем ей языке она употребила слово «в мечтах»)? Я вынужден был признать, что в основном это действительно так, хотя... Объяснения различия понятий «заинтересованность» и «незаинтересованность» Опула не стала ждать — ее любознательность целиком была направлена (позднее я узнал, почему именно) лишь на то, чтобы понять, какое чувство вызывает в нас то, что мы, буллоки суши, называем женской красотой.

Подавленный и совершенно уничтоженный этими ее последними словами, я уставился на нее: ведь королева ойх впервые открыто и прямо применила по отношению к мужчинам Земли это унижительное определение, показав тем самым, что проводит прямую аналогию между нами,

мужским населением Земли, и жалкими червями, населяющими Капилларию. Но Опулу мало беспокоило мое оскорбленное самолюбие: повелительным тоном она потребовала от меня объяснений.

Итак, мне не оставалось ничего иного, как поведать о том, что красота женщин действительно является немаловажным фактором в нашей жизни, хотя лучшие умы человечества не придают этому большого значения с точки зрения развития общества (за исключением, быть может, апостолов сомнительной науки евгеники). Рассказал я и о том, что в соответствии с вышеизложенным стремление к красоте является целью всех женщин и одним из могущественных факторов естественного отбора.

Воспользовавшись случаем, я попытался было аргументировать слабое развитие женщин, объяснив его их угнетенным положением в обществе. Не имея более высоких и благородных идеалов, женщина вынуждена делать единственным содержанием своей жизни стремление любой ценой понравиться мужчине, своей красотой вызвать в нем такие чувства, которые в часы досуга она умело использует в собственных интересах. Я, как мог, описал ту жалкую, постыдную борьбу, которую ведет женщина за благосклонность мужчины. Привел я и слова некоторых наших знаменитых социологов и поборников женского равноправия, которые с благородным гневом бичуют одну из величайших бед человеческого общества — отношение к женщине как к предмету наслаждения. Несколькими смелыми штрихами я постарался обрисовать атмосферу современных больших городов — ту дикую погоню за наслаждениями и жизненными утехами, в центре которой, точно барометр богатства и процветания, всегда находится красивая женщина.

Не удержался я и от того, чтобы не рассказать Опуле о безрассудном культе женщин в восемнадцатом веке, на-

следие которого и поныне чувствуется в ряде наших пережитков. Мужское тщеславие рассматривает красивую женщину как предмет роскоши, как блестящую безделушку; из этого, естественно, вытекает, что женщина, находясь на более низком уровне сознания, не видит, куда идет человеческое общество, в чем его предназначение; она добивается только того, чтобы пользоваться кратковременным превосходством, которое ей обеспечивает ее красота, и отнюдь не заботится о будущем всего человечества. Противореча самому себе, я выдвинул постулат, что подобное положение женщины характерно только для высших сфер общества, то есть для очень узких кругов, а посему не представляет опасности для цивилизации в целом. Миллионный трудовой люд вовсе не смотрит на женщину как на предмет роскоши, народ ценит женщину как мать, как жену, привлекает ее к работе по дому и в хозяйстве, предоставляя возможность быть человеком, верным товарищем мужу по жизненной борьбе. Жаль, однако, что все это длится, пока женщина действительно пребывает в состоянии только Человека, а не Женщины как таковой; стоит же проявиться в ней специфически женскому началу, пробудиться грубым животным чувствам, как она сразу же начинает тяготеть к высшим привилегированным кругам. Члены высшего общества выбирают для себя наиболее совершенных и привлекательных женщин из низших кругов. Тот, кто жил в больших городах, хорошо знает, что аристократы красоты не тождественны аристократам по рождению или по рангу: достаточно вспомнить о головокружительной карьере дочек дворников или бедных горничных, которых наметанный мужской глаз поднял из безвестности, чтобы, подобно драгоценному камню, они засверкали в оправе из дорогих мехов и шелков, демонически покоря мужские сердца.

На этом месте Опула вновь меня перебила: ее заинтересовало слово «жаль», которое я обронил, вернее, чувственная окраска этого чисто логического определения. Она спросила, действительно ли я сожалею, что упоминавшиеся выше дочери привратников или горничные — красавицы? Если так, то выходит, что я, подобно другим «мыслителям» — земным буллокам, хочу, чтобы женщины были бы уродками, а не красавицами, как им того хочется, — ведь если судить по мне, то мирное сожителство, прогресс всего человеческого рода гарантируется именно этим условием.

Вопрос Опулы столь меня озадачил, что в первую минуту я не нашелся что ответить. Только спустя какое-то время я собрался с мыслями и уже пустился было в рассуждения относительно «борьбы полов», как ее величество опять, на сей раз весьма решительно, меня остановила, сказав, что этим она не интересуется, так как на этот счет уже имеет свое мнение. Из того же, о чем я пытался здесь распространяться, со всей очевидностью явствует, как она и предполагала, что мы, земные буллоки, попросту завидуем нашим женщинам — завидуем тому, что они красивее нас, совершеннее и счастливее и, следовательно, во всех отношениях выше нас, что, впрочем, вполне естественно. Наше беспокойство проистекает по той простой причине, что мы осознали свое подчиненное положение, в котором находимся у собственных жен, но в своей обиде (на языке ойх это слово означает также «глупость») не замечаем, как выворачиваем факты наизнанку.

Что же касается моей болтовни о женщине как предмете наслаждения, роскоши и игры, то это звучит так же, как если бы тень назвала себя источником света. По поводу «бедных горничных» и «дочерей дворников»: она не понимает, почему я говорил о них с таким пренебрежением, когда сам признал, что они стремятся к одинаковой

с мужчинами цели: к богатству и процветанию, с той лишь разницей, что мужчина достигает этого величайшим напряжением сил и труда, а женщина берет все это в свое законное владение по праву того, что она просто женщина. Не свидетельствует ли это, что сам факт ее существования означает больше или, уж во всяком случае, то же самое, что у мужчин их «заслуги» и их «сила»? Само существование женщины — разумеется, женщины совершенной, то есть красивой, — дает ей право на жизнь и является ее заслугой, и вполне естественно, что она живет тем, ради чего родилась на свет — ради удовольствий и радостей. Вряд ли я сам серьезно верю, когда отзываюсь о женщине как о предмете, заявила королева ойх. Ей и без моих разъяснений ясно, что мужчина, выбирая себе женщину, как я выразился, для любви, одевает ее в бархат и шелка ради того, чтобы доставить ей удовольствие, ибо понимает, что только та женщина, которая сама извлекает максимальное удовольствие от любви, может принести и ему радость — в противном случае счастье мужчины было бы неполным, а в известном смысле и просто невозможным.

Как может быть «предметом наслаждения» кто-то, кто сам испытывает наслаждение? Только больной или отупелый ум способен утверждать подобное. Я говорил о шелках, бархате и золоте, которые мы складываем к ногам женщины «в обмен» на ее любовь, но можно ли назвать «обменом» ту сделку, в которой одна из сторон при этом не только не теряет, но, напротив, приобретает? В данном конкретном случае получает лишь одна сторона — женщина: мужчина дарит ей материальные блага только за то, чтобы она склонна была принять их и внутренне пережить. И действительно, что дает женщина мужчине, кроме права давать ей? И это весьма странное право, получаемое мужчиной от женщины в обмен на все, что он для нее делает, воспринимается им как радость и наслаждение,

пока полное изнурение и смертельная усталость не убеждают его в том, что он реализовывал лишь свою обязанность, а вовсе не право: он просто подчинялся необходимости, а не удовлетворял свою мечту. Таким образом, получается весьма любопытная ситуация: тот, кто берет, ничего не давая взамен, не может быть ни «предметом роскоши», ни «чужой собственностью», ни просто «игрушкой», а является не чем иным, как победителем, сильнейшей стороной, более высокоорганизованным существом. Акт, совершаемый этим существом, не зиждется на основе взаимовыгодного и равноправного договора или соглашения, а является недвусмысленной победой более совершенного пола над менее совершенным.

Глупость буллоков ничто так не характеризует, как тот факт, что они хотят раскрепостить женщину, вместо того чтобы освободить самих себя от ее власти. Им следовало бы вступить в соревнование с женщиной или по крайней мере взять с нее пример, подметить ее секреты, преодолеть свою отсталость и наивность и достичь той стадии развития, которая позволила женщине сделать мужчину своей добровольной жертвой.

И Опула, пользуясь паузой, пока я собирался с мыслями, чтобы возразить ей, обратилась к теме, которой я боялся больше всего: она стала отыскивать сходство между нами, мужчинами Земли, и теми уродцами, которых в Капилларии называют буллоками. Только сознание долга и зарок не замалчивать ничего из того, что я видел и испытал за время своих путешествий, придают мне силы следовать за логикой рассуждений Опулы по данному поводу, — рассуждений, о которых я и сейчас не могу думать без чувства стыда и оскорбленной мужской гордости. К сожалению, я вынужден был признать, что многие сведения, сообщенные ею о буллоках, соответствовали действительности; поэтому я не могу замалчивать их и относить-

ся к рассказу Опулы как к капризу или беспочвенной игре воображения.

Опула начала свой рассказ с признания того, какими средствами ойхи захватывают те дворцы и замки, которые строят буллоки с целью достичь поверхности океана. Едва башнеподобное здание достигает известной высоты, достаточной для жилья, несколько ойх внезапно проникают во внутренние покои и разбрызгивают жидкость, о которой я уже упоминал в предыдущей главе, сравнивая ее запах с широко распространенной в Европе парфюмерией. Странно, что буллоки вопреки тысячелетнему опыту не отдают себе отчета о грозящей им опасности и даже не помышляют о защите. При появлении ойх среди полчищ прилежно работающих животных возникают замешательство и паника: буллоки хватаются за голову, дрожат всеми своими нескладными членами и издают своеобразные пискливые звуки.

Дурманящая жидкость, которой ойхи выкуривают их из помещения, вначале, видимо, вызывает в буллоках повышенную реакцию на окружающее — они, очевидно, догадываются о причине своего возбуждения, однако не могут предвидеть его конечного результата. Покинув строительные леса, буллоки начинают кружиться вокруг ойх все в более быстром темпе, невообразимо при этом гримасничая и корча рожи. Затем они обычно нападают друг на друга, отчаянно толкаются и кусаются; эта возня и драка достигают своей кульминации в тот момент, когда, как иногда случается, кто-либо из буллоков — случайно или с намерением — набрасывается на одну из ойх. В этом случае буллоки образуют плотное кольцо вокруг якобы подвергшейся нападению ойхи и начинают настоящее сражение между собой, поднимая ужасающий шум и устраивая свалку, в которой нередко убивают друг друга. Наиболее яростно сражаются так называемые буллоки-галац-

ты, нанося удары и раздирая на куски своих братьев стриндбергов, или струборгов (тех самых, кто набрасывается на ойх). По утверждению Опулы, ойхи, наблюдая за этим странным побоищем, до колки в животе хохочут над галантами, которые пытаются их защитить, когда речь, собственно, идет о том, чтобы им самим спасти свою жизнь. Правда, среди буллоков встречаются иногда экземпляры, которые смутно осознают грозящую им опасность и пытаются спасти если не самих себя, то по крайней мере с таким трудом возведенное здание, памятуя о том, ради чего его начинали строить. Ойхи называют подобных буллоков «гонтами» или «кантами» и с особенным усердием уничтожают их из-за неприятного запаха. «Канты» забиваются под карнизы и в труднодоступные щели строящегося здания, пытаясь помешать ойхам возвести хлипкую кровлю и оборудовать под заурядное жилье могучую конструкцию, которую вновь и вновь тщатся закончить буллоки с единственной целью соорудить лестницу и подняться по ней в высокий и свободный мир. Выкуриванием и уничтожением «кантов» ойхи не особенно себя утруждают; для этой цели им служит другая разновидность буллоков, так называемые «коэты» или «позты», и среди последних особенно активные «готы», или, что то же самое, «гребнистые гёте», а также «вульде», «вильде» и «даннунциос», которые, как это ни парадоксально, тоже терпеть не могут своих дурно пахнущих собратьев.

Вообще, как ни странно, но отвратительные существа, чье карликовое тело в бесцельном и глупом эволюционном раже изуродовала природа, культивируя вкривь и вкось недоразвитые плавники, крылья и щупальца, легкие и жабры таким образом, что излишние несовершенные органы только мешали их свободному движению, вместо того чтобы оставить и развить до совершенства лишь единственный, простейший орган, который, по крайней мере для

ойх, идеально соответствовал бы своей цели, — словом, я хочу сказать, что в душе этих несчастных червей вопреки всему осталось место чувству тщеславия по отношению к ойхам. Встречаются среди них — и в не малом количестве — такие экземпляры, которые проникают в среду ойх, кокетничают с ними, усваивают их привычки, жесты и мимику в надежде, что смогут приглянуться им. Мне приходилось наблюдать, что когда ойхи, готовя обед, бросают в котел откормленных буллоков, эти дамские угодники не только не отбрыкиваются, но как бы соревнуются друг с другом, кто первый из них прыгнет в кипяток, утешая себя смехотворной иллюзией, будто этот акт вызван не голодом и аппетитом, а особым расположением и благосклонностью ойх, которые относятся к ним как к своим избранникам.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Автор рассуждает о браке вообще и в частности. — «Женщина в литературе и искусстве». — Автор узнает об истинных отношениях между ойхами и буллоками. — Несколько оригинальных выводов автора по данному вопросу...

В эти самые дни, если помнится (ибо в отношении хронологии моих записок я предоставлен исключительно своей памяти — ведь там, на дне океана, я был лишен возможности делать заметки ввиду отсутствия соответствующих канцелярских принадлежностей), Опула впервые проявила интерес к слову «брак» в нашем земном смысле и к значению этого понятия вообще. В моих рассказах частенько фигурировало это слово, и однажды я невольно произнес его с такой горечью (сколько бы я ни подчеркивал, все равно будет нелишним еще раз напомнить читателю, что язык ойх состоит исключительно из эмоциональных восклицаний), что вызвал интерес и даже сочувствие у своей собеседницы.

После непродолжительного колебания я решил, что наилучшим способом объяснения будет конкретный пример, и в качестве такового избрал собственную персону. Когда я еще жил в Англии, все окружавшие в один голос признавали, что мой брак является образцовым для своего времени с точки зрения его духа и морали. Этот брак венчал собой счастливую и удачную любовь. Я снискал славу мужа, достойного зависти, ибо стал обладателем молодой и красивой жены, руки которой в свое время безуспешно добивались богатые и влиятельные мужчины.

Не скрыл я от Опулы и того, что в те дни был восторженным и весьма способным молодым человеком, испол-

ненным пламенной веры, с душой, открытой красоте и добру. Будущее представлялось мне безгранично сказочной перспективой, мне казалось, что я могу сдвинуть горы и открыть на их месте неведомые источники, из которых фонтаном бьет счастье и чудодейственная энергия, способные изменить судьбу всего человечества. Я еще не знал, что меня ожидает, но вера в святую троицу — красоту, добро и истину — наполняла меня сознанием, что я достигну той вершины, той высочайшей ступени познания жизни, откуда смогу взирать окрест как бог, как творец всего сущего, как хозяин, а не игрушка собственной судьбы и природы. В этот период жизни я познакомился со своей будущей женой, которая определила направление и придала конкретное содержание моим беспорядочным мечтам и воображению. Она была еще очень молода, я же был скромным, неимущим юношей. Я решил сделать ее своей, и она, догадавшись о моем намерении, беззаветно обратила всю силу и власть своей красоты на то, чтобы подхлестнуть мое желание, стать в моих глазах тем идеалом, который в минуты слабости и уныния воодушевляет и зовет к действию. Покончив с детскими мечтами и грезами, я поступил в университет и по прошествии положенного срока окончил его с дипломом врача. Никогда не забуду тот счастливый момент, когда возбужденный, исполненный счастья, я показал ей этот документ — плод пятилетнего неустанного труда и лишений. Сладкий поцелуй и подбадривающий взгляд были моей наградой — более полного удовлетворения я не получал за всю свою жизнь. Вскоре подвернулось место на службе: взяв в компаньоны своего коллегу, я основал хирургический кабинет и стал обладателем известного капитала, что дало мне возможность жечься.

После такого введения я попытался рассказать Опуле о счастливых днях медового месяца; прибегая к разнооб-

разнейшим восклицаниям, я объяснил ей, как мы с женой готовились к устройству семейного гнездышка, как строили планы на будущее, как обдумывали обстановку нашей спальни — каким будет большое трюмо, ее пенюар, хрустальный туалетный прибор и т. д. На свадебном вечере моя супруга поразила присутствующих своей красотой: каждый из гостей счел своим долгом поздравить меня с тем кладом, обладателем которого я стал, и я, ошарашенный, отвечал, что вечно буду ценить его.

Затем я обрисовал своей собеседнице обычный день своей семейной жизни. При звоне будильника я тихонько встаю с постели, стараясь не потревожить сладкий полусон жены; на цыпочках пробираюсь в свой рабочий кабинет, где мой слуга уже ждет меня с начищенной обувью. После завтрака я спешу в клинику — мое утро проходит в прилежном труде, и только к полудню выдается немного времени, чтобы я мог выполнить свои общественные обязанности: посетить несколько политических обществ, членом которых я имел честь состоять. По дороге домой я захожу в магазин и делаю для своей жены покупки, список которых она предусмотрительно заготовила для меня еще с вечера (за моими покупками обычно ходит мой слуга).

Тем временем супруга моя уже встала, оделась, позанималась с детьми и отправилась в экипаже на прогулку, дабы показать знакомым себя и свои наряды и тем самым продемонстрировать материальное благополучие семьи и общественное положение своего мужа. Мы приходим домой одновременно — мой слуга и я. Он помогает снять пальто мне, я же помогаю раздеться жене, которая входит в дом следом; раскрасневшаяся, она милостиво протягивает мне руку для поцелуя, выражая довольство тем, что понравилась всем встречным мужчинам и вызвала зависть своих подруг. К обеду она переодевается; я тем вре-

менем разливаю вино в бокалы и, когда она появляется в столовой и подходит к своему месту, подхожу к ее стулу и помогаю ей усесться (аналогичную процедуру проделывает с моим стулом мой слуга). За столом у нас обыкновенно бывает несколько гостей, которые учатся у меня хорошим манерам и завидуют тому, как я обслуживаю свою красивую и вполне светскую супругу.

После обеда моя жена ложится немного отдохнуть, а я сажусь за деловые письма. Потом наступают часы врачебного приема; по окончании его я ненадолго заглядываю в клуб, где мы обычно обсуждаем важнейшие политические события: в мире всегда случается такое, что делает актуальным политику, — экономические или политические разногласия с другими странами, которые могут привести к столкновениям, если нам не удастся каким-либо иным способом отстоять интересы отечества и его сограждан. Тем временем моя супруга наносит визиты приятельницам, едет к портнихе. Она неутомима в стремлении с честью выполнить священный долг каждой женщины — всегда быть красивой и желанной, всегда служить стимулом и наградой за напряженную деятельность мужчины. Вечером, когда мы остаемся одни, я могу получить эту награду, сладость которой не потребовалось долго объяснять Оупле — достаточно было одного короткого и счастливого восклицания.

Признался я ее величеству и в том, что, разумеется, не всегда мое счастье было безоблачным. Нередко моя жена пребывала в дурном расположении духа или грустила. На моем пути вставали безумцы, которые, завидуя нашему счастью, пытались отвоевать ее у меня. Своей цели они добивались ухаживанием, настойчивыми обещаниями настоящей любви и прочих благ. Моя жена нередко колебалась, чем доставляла мне неизъяснимые страдания. Но в конце концов всегда побеждал я, и обольстители вынуж-

дены были признать, что в той борьбе, которую как самую беспощадную борьбу за существование описали Дарвин, Вайнингер, Ференц Мольнар или Эндре Ади, сильнейшей стороной оказывался все же я. Было у меня и несколько дуэлей, в которых раны своим противникам наносил преимущественно я: как хирург, должен признаться, что это были весьма серьезные ранения, одно из которых, увы, имело смертельный исход.

Поведал я Опуле и о том, что в кризисные моменты супружеской жизни я часто размышлял над проблемой, занимавшей многие умы нашей эпохи, — над проблемой о положении женщины. Я нередко посещал театр, с моей точки зрения являющийся форумом взволнованной человеческой души и актуальной политики. Будучи весьма начитан, я широко пользовался творениями современных поэтов и поэтов прошлых веков, пытаюсь извлечь квинтэссенцию из произведений гениальных мужей, которые в совершенстве раскрывали тайну того явления, что мы называем одним словом — Женщина. Я познакомил свою слушательницу с теми великими умами, которые смотрели на женщину с точки зрения высшей морали и высшей мудрости, а также и с теми, кто усматривал в ней лишь грубый и вящий объект телесной любви, то есть смотрел на женщину весьма примитивно, так сказать, невооруженным глазом.

В построенной мной схеме под одну рубрику попали Золя и маркиз де Сад, натурализм и порнография (о последней я распространялся весьма пространно, с подробностями, повторить кои здесь мне не позволяют приличия); в особый, привилегированный раздел я объединил признанных прозекторов тайн женской души — Флобера, Стендаля, Батайя — и весьма кратко резюмировал содержание целого ряда современных драм, представив Опуле творчество Ибсена, Стриндберга, Метерлинка, Гауптмана,

Шоу, Бернштейна. О пьесах, посвященных разрыву супружеских уз, я рассказал отдельно, дав понять, что драматурги по-разному — иногда иронически (прибегая к приему так называемого «треугольника»), иногда трагически — живописали последствия женского непостоянства...

Здесь Опула неожиданно перебила меня, задав совершенно непостижимый с моей точки зрения вопрос: какое платье носил Стриндберг и в чем была одета Элеонора Дузе на генеральной репетиции «Дамы с камелиями»? Она попросила описать это с подробностями, ибо все остальное, о чем я повествовал, ей ясно с полуслова, а в этом вопросе она испытывает потребность в более конкретных сведениях.

Несколько опарашенный, я вынужден был все же повиноваться. Я сказал, что туалет Стриндберга мне описать ничего не стоит — все европейские мужчины в принципе носят, можно сказать, униформу: очень простого покроя одежду, задача которой — скрыть от глаз мужскую наготу и контуры тела наиболее экономным способом. Для этой цели служат, собственно, пять частей туалета — одна из них укрывает туловище, четыре других, меньших по размеру, соответственно — руки и ноги. Обычно такой туалет шьют либо из серого, либо из черного материала (ни в коем случае нельзя смешивать расцветки) и изготавливают в виде отдельно пиджака и отдельно брюк с тем, чтобы естественная граница двух частей обнаженного тела — туловища и ног — не была бы заметна. Такую одежду носят все мужчины в Европе; носил ее и вышеупомянутый Стриндберг, пока был жив, хотя, если быть откровенным, мне не совсем ясно, какое отношение это имеет к обсуждаемой теме.

Затруднительнее оказалось ответить на второй вопрос — наши дамы одеваются в самые разнообразные и са-

мые богатые наряды. Цель их гардероба двоякая, как и в животном мире: с одной стороны (хотя это и не самое главное), платье должно служить защитой от непогоды, с другой же стороны (что существенно важнее и едва ли не основное), оно предназначено выявить и подчеркнуть специфически женское начало в женщине, служить обольщению мужчин, будоражить мужское воображение таким образом, чтобы вызвать впечатление душистого цветка, предназначенного для того, чтобы его сорвали, или, что еще желательнее, вожделенного плода.

Тут Опула попросила меня не прибегать к такому количеству сравнений, ибо ей непонятно, зачем они. Как она заметила, земные буллки вообще злоупотребляют в овоей речи метафорами в такой же степени, в какой профанированные (обезобразенные) ойхи, среди которых они живут и которых я называю «женщинами», злоупотребляют платьем, пытаясь с его помощью придать видимость совершенства своим телесным несовершенствам. Как только мы испытываем недостаток интереса и чувства к тому, о чем говорим и к чему хотим возбудить интерес и любовь у других, продолжала она, мы тут же прибегаем к сравнениям, как бы компенсируя этим отсутствие иных доказательств, подобно тому как торговец говорит о масле, что оно «как миндаль», а о миндале, что он «как масло», ибо не верит в то, что его товар может говорить сам за себя и производить должное впечатление самой натурой. Если наши переродившиеся ойхи испытывают потребность в одежде, дабы производить впечатление цветка или плода, которые хочется сорвать, то это, очевидно, происходит по той простой причине, что без одежды они выглядят не вполне цветками и не вполне плодами. Но все это не столь уж существенно, ибо на основе моего рассказа она составила приблизительное представление о том, о чем хотела знать. Не понимает она только одного: как могло случить-

ся, что, когда меня обнаружили на дне океана, я был в той же одежде, какую, по моим описаниям, носили земные буллки.

Только тут до меня наконец дошло, что Опула принимает меня не за буллока, то есть за мужчину, а причисляет к разряду дегенерировавших земных ойх, то есть к себе подобным существам женского пола. Мой внешний вид, мое физическое обличье действительно подходило, с ее точки зрения, скорее к «чувственному организму», каким являются представители женского пола, нежели к тем маленьким уродцам, которые в Капилларии связываются с представлениями о мужском начале. Я поостерегся сразу указать ей на ее ошибку, — откровенно говоря, в стране ойх это заблуждение выглядело для меня скорее как комплимент, чем как оскорбление. Кроме того, мне показалось более дальновидным не просвещать Опулу относительно истинного положения вещей — ведь, к сожалению, я не мог надеяться, что она согласится беседовать со мной и проявит прежний интерес к моей особе, после того как узнает, что по существу я ближе стою к тем червям, которые вызывают в ней лишь презрение и гадливость.

Благодаря ее ошибке я мог пользоваться доверием и расположением Опулы и в дальнейшем, и потому я не нашел в себе храбрости, чтобы отказаться от этого. Она считала меня пусть ухудшенным, но все же вариантом ойхи и полагала, что в конечном счете мы придем к единому мнению относительно буллоков. Поэтому я дал весьма уклончивый ответ по поводу своего костюма, сославшись на пиратов, которые напали на наш корабль перед тем, как он пошел ко дну, и силой заставили меня переодеться. Из этого моего объяснения Опула смогла, однако, заключить, что земные буллки физически почти не отличаются от земных ойх, что представляется ей весьма странным, но «ни в коей мере не означает — и это подтверждается, в частности,

моими рассказами, — что по душевному, чувственному и умственному складу существуют какие-либо заслуживающие внимания различия между земными и капиллярскими разновидностями буллоков». Это обстоятельство, продолжала Опула, волей или неволей признал я сам, когда отвечал на ее наводящие вопросы в подобающей форме.

Читатель легко может представить себе мое удивление: ведь я все время пытался убедить Опулу в прямо противоположном тому, что, как оказалось, она извлекла из моего рассказа! Я попросил ее уточнить, в чем она видит тождественность тех и других буллоков и почему имеющиеся между ними различия не могут быть названы даже «заслуживающими внимания».

Из ответа Опулы я, наконец, понял то, что до тех пор лишь смутно жило во мне неоформившейся догадкой, подобно тому как в ребенке живет тайна его происхождения: я узнал о том, какую роль, с точки зрения естественной и физиологической, играют в Капилларии буллоки, участвуя в ответственной работе по сохранению рода. Кратко, буквально в нескольких словах я сообщу о тех сведениях, что, безусловно, отвечают интересам научной объективности и совести путешественника-естествоиспытателя; поверьте, я далек от желания неприличными подробностями возмущать своего скромного и стыдливого читателя.

Итак, ойхи, так же как и наши женщины, — живородящие существа и рожают себе подобных маленьких ойхнят. В вопросе зачатия в Капилларии мало что смыслят, подавляющее большинство ойх даже не знает, что для зарождения эмбриона требуется кое-что сверх здорового материнского организма и хорошей пищи. Правда, некоторые ученые ойхи, в большей степени похожие на наше «переродившееся» племя, в свое время пытались указать на то (это я установил с трудом, после перекрестных

вопросов), что те ойхи, в рационе которых отсутствует тот самый деликатес, которым местные жительницы лакомились в первый день моего пребывания в Капилларии, а именно свежесжатые мозги живых буллоков, не рожают до тех пор, пока не почувствуют аппетита к этому блюду. Видимо, в мозговом веществе буллоков наличествует какой-то особый препарат, без которого невозможно размножение; справедливости ради следует, однако, отметить, что мнения по этому вопросу расходятся. Что же касается буллоков, то они, по всем признакам, зарождаются из шлакоотбросов морского дна; размножаются ли они друг от друга, как многие иные черви и пресмыкающиеся морских глубин, — на то нет никаких доказательств. Не удалось также до сих пор разгадать, рождаются ли они живыми или выходят из яиц, подобно всем рептилиям. Ясно только одно: они живут в тех же районах необъятного океанского дна, где обитают ойхи, и отдельно, в диком виде, не встречаются, а лишь в окружении ойх, всегда и везде, в огромном количестве, как своего рода паразиты — о разведении их беспокоиться не надо, они разводятся сами по себе и в достаточном количестве, будучи всегда готовы удовлетворить потребности ойх.

Вот и все, что мне удалось узнать от Опулы по поводу природы буллоков. Вряд ли этого было бы достаточно, если бы мне не представилась возможность дополнить эти скудные сведения собственными заключениями, сделанными на основе моих скромных наблюдений и исследований, которые я провел в Капилларии вполне самостоятельно, без какого бы то ни было вмешательства ойх. Эти исследования, которые по праву могут считаться выдающимися открытиями в нашем научном мире, для Капилларии оказались настолько само собой разумеющимися и неинтересными, что, когда я изложил их Опуле в надежде сразу снискать славу Дарвина или Ньютона, открывшего родст-

венную связь ойхов и буллоков, она лишь пожала плечами и с полным безразличием сказала, что все это вполне возможно, однако несколько не интересно и вовсе не занимательно.

Пути и средства моего открытия я описывать не стану — боюсь, это наскучит читателю; ограничусь лишь изложением конечного их результата.

Буллоки, которых в Капилларии считают полезными рептилиями, подобными нашим шелковичным червям, и о которых знают в лучшем случае лишь то, что они являются хорошим стимулятором для размножения ойх, — эти самые буллоки в действительности, как о том еще и поныне свидетельствует мифология ойх, происходят... от самих ойх! Только из-за своеобразного, прямо скажем, дегенеративного способа рождения буллоков этот факт им неведом. Каждая ойха во время родов имеет в своей плаценте сто или двести зародышей буллоков. Едва видимые простым глазом, личинки эти и являются новорожденными буллоками; естественно, что ойхи, испытывающие брезгливое чувство к любой материи, в отличие от наших естествоиспытателей, обожающих копаться в ней, до сих пор не заметили этих почти невидимых невооруженным глазом личинок. Послед ойх буквально кишмя кишит ими; мельчайшие зародыши буллоков имеются и в фекалиях ойх (во время родов). Когда затем послед и фекалии разносятся подводным течением по дну, личинки буллоков застревают в водорослях, в коралловых зарослях, попадают в ил; там они начинают развиваться. Отсюда и зародилось представление, будто буллоки изрыгнуты грязевым покровом морского дна.

В конечном счете можно было бы сказать, придерживаясь взглядов наших естественников, что ойхи и буллоки находятся в такой же взаимозависимости друг от друга, как мужчины и женщины на Земле. Но в Капилларии, где

отсутствует представление о поле, где понятие о человеке как о высшем существе, венце создания, распространяется только на ойх, утверждать, будто ойхи и буллоки являются двумя половинами одного целого, двумя равноправными компонентами одной высшей жизненной силы, было бы по меньшей мере столь же неразумно, как если бы у нас, на суше, какому-нибудь сумасбродному ученому пришло в голову доказывать, что человеческое достоинство определяется не умом и благоразумием, не душевными качествами и человеческим сознанием, а исключительно качеством печени, почек, селезенки, полового органа или фермента, способствующего обмену веществ в нашем организме.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Экскурсия в поселение буллоков. — Буллоки-художники. — Пространство и время. — Несколько своеобразных представлений ее величества о человеческом роде. — Тело и душа. — Шестое и седьмое чувства.

В один из последующих дней Опула высказала необычное мнение по поводу одного весьма сложного вопроса; хотя это мнение и было сформулировано ею с предельной ясностью, оно находилось в таком вопиющем противоречии со всем, что я знал и во что верил, что мне потребовалось немало времени, прежде чем я смог собраться с мыслями.

Ее величество, королева Ойх, делала смотр одной из построек буллоков и милостиво разрешила мне сопровождать ее. В флюоресцирующем свете, отражаемые в зеленой волне, легко покачивались ряды возводимых буллоками вавилонских башен — район новостроек в пригороде столицы Капилларии, творения неутомимо работающего упрямого сонмища буллоков. Каждая башня была подобна бесконечной, возносящейся к небу лестнице, а все вместе они овеществляли собой попытку реализовать единственное чаяние — вырваться однажды на поверхность того океана, в глубинах которого трудятся, борются и погибают эти несчастные пресмыкающиеся, вновь и вновь забывая о том, что им вовеки не суждено достичь своей цели.

Мы вошли в одну из башен. Опула с видом знатока осмотрелась вокруг и заявила, что это здание, с точки зрения ойх, через непродолжительное время будет вполне готово. Три стены уже достаточно высокие, и как только четвер-

тая сравнивается с ними, она отдаст распоряжение своим подругам явиться сюда с пульверизаторами.

Трогательно было видеть оживление, суету и трудолюбивое рвение маленьких буллоков. Они не оставили работу даже при появлении Опулы; лишь двое-трое из общей массы отделились от карниза, приблизились к нам и стали плавать вокруг, вытаращив маленькие глаза. «Следят за нами!» — улыбнувшись, проронила Опула и добавила, что среди этих уродцев попадаются существа, наделенные инстинктом художника, — они-то и украшают стены возводимой башни различными рисунками. Все, без исключения, рисунки изображают ойх в различных позах; это дает возможность заключить, что в этих маленьких чудовищах подсознательно живет смутное представление о красоте и счастье — истинной цели жизни. Работяги-буллоки презирают своих собратьев-художников и всячески издеваются над ними. Опула попыталась звукоподражанием передать мне звучание кличек, которыми буллоки окрестили художников: они зовут их «идолопоклонниками», а рисунки с изображением ойх — «идолами» и «божествами». Сами же художники выражают значение своих картин звукоподражанием «рок» или «судьба».

Из всего сказанного я понял наконец то, что для Опулы представлялось само собой разумеющимся, а для меня до последнего момента непостижимым: почему буллоки не распознают, что ойхи являются единственным врагом и экспроприатором их труда, почему они не объединятся против ойх, вместо того чтобы уничтожать друг друга. Только теперь я понял, что буллоки считают ойх высшим существом, некоей метафизической силой, абстрактным понятием, под которым они понимают саму жизнь; борются против этого, по их представлению, аналогично тому, что борются против самого себя, против жизни как таковой. Наивные художники среди буллоков, как, впрочем, и сре-

ди людей, называют эту силу божеством; создавая свои картины они как бы приносят дань божеству, умоляя об искуплении.

Я пригляделся к одной из таких картин-идолищ: перед ней на коленях стояли буллоки, которые при появлении Опулы отскочили и, указуя на картину, начали толкать локтями друг друга. Только перифрастическими средствами в состоянии я описать то, что было предметом этюда с двумя ойхами: если бы я вздумал напечатать копию с этой картины, то никакая цензура ни одной страны не позволила бы мне подобной публикации. Короче говоря, картина изображала тривиальную скабрёзность, содомский акт (кроме двух ойх в ней фигурировало несколько буллоков), подобный тому, что рисуют на порнографических картинках, которыми в нашем обществе развратники забавляют милых дам, в решающую минуту вытаскивая из кармана фотографии, призванные разжечь их воображение.

Я брезгливо отвернулся и посоветовал Опуле обратить свой взор на массу работающих в поте лица своего буллоков. Воспользовавшись случаем, я попытался представить это зрелище таким образом, чтобы возбудить в ней интерес и уважение к тому, к чему уж столько раз тщетно стремился, а именно к мужскому труду, к мужской сметке, воле, находчивости.

— Вот, смотри, — говорил я патетическим тоном, — есть, оказывается, нечто выше простого счастья и утех, есть чему посвящать жизнь: это долг человека во имя святой и высшей цели. Кант утверждал: над моей головой — звездное небо, а во мне — категорический императив. Эти маленькие существа возводят огромную башню, чтобы достичь своей цели, а вы каждый раз разрушаете результаты их усилий и труда, но вновь и вновь они принимаются за свое, исполненные веры и энтузиазма. И разве эта борьба, пусть без надежды, не прекраснее, не возвышеннее изне-

женного сладострастия и погони за утехами жизни, разве подобное отрицание жизни во имя высшей цели не достойнее для души, чем погрязнуть в буднях настоящего, не желая прекрасного будущего?

Ее величество с изумлением взглянула на меня и заметила, что мои взгляды на пространство и время кажутся ей чрезвычайно скучными и она просит оставить эту тему. Высокое и глубокое, прошлое и будущее — все это преподобные глупости, которые невозможно испытать («почувствовать», «насладиться», как она выразилась), ведь для ойхи нет высоты или глубины, она живет тем, чем живет, то есть своей душой, своими чувствами, считая себя центром мира, и довольствуется только настоящим, вечно одним настоящим и оттого всегда счастлива. Что же касается высокой мечты буллоков, то она не находит ее ни на йоту интересной и оригинальной. Ну, чего добьются они, если даже на минуту предположить, что им удастся построить до конца одну из этих своих башен? Ну, выберутся они на поверхность океана, ну, попадут на сушу, в ту страну, о которой я рассказывал и откуда, по моим словам, произошел. А дальше что? Где в той стране более высокая, более счастливая форма жизни? Там, наверху, буллки несколько большего размера, но по существу из всего того, о чем я поведал, она видит, что земные буллки такие же глупые (читай — «несчастные»), если не глупее, чем здесь, на дне. Быть может, они несколько самоувереннее — в этом и вся разница, да, пожалуй, еще в том, что они еще хуже, если только это возможно, осознают свое положение и обманывают себя.

Все, что я говорил о браке, продолжала Опула, по сути дела не отличается от разведения буллоков в Капиллари. Что наши буллки прячутся в цилиндрические одежды — тоже вполне естественно: этого попросту хотят наши земные ойхи, которые не терпят, чтобы мы могли чем-

то щеголять, вызывать желание и на этой основе вести праздный образ жизни за счет ойх. Кроме того, из моих признаний она, Опула, без труда может доказать, что наши бедные буллки в глубине души тоже смотрят на ойх как на божество и, отрицая их превосходство, лишь доказывают, что подсознательно чувствуют свою ущербность.

Упавшим голосом я попросил ее пояснить, что она имела в виду, говоря это. Ничтоже сумняшеся, Опула процитировала мои же высказывания, но в собственной интерпретации. Я признал, сказала она, что «женским вопросом», как мы, жители Земли, это называем, у нас занимаются исключительно мужчины, так называемые «великие умы» (вряд ли здесь следует принимать в расчет тех многочисленных феминисток, которых Опула попросту не считает за женщин, видя в них дефективных мужчин). Таким образом, над решением «женского вопроса», который женщины разрешают без всяких усилий самим фактом своего существования, бьются величайшие мужские умы, представители интеллектуальной элиты, причем с крайним рвением и самопожертвованием. Почему же тайну женской души с таким, достойным лучшего применения, упорством всегда исследуют одни мужчины, почему женский характер анализируют мужчины и все величайшие открытия на поприще этой тяжелейшей науки связаны с именами мужчин, а женщины служат им лишь объектом для изучения? Низкий уровень жизни женщин, ее духовную бедность я пытался аргументировать тем, что, мол, они сами себя не в состоянии понять и объяснить, у них нет собственного мнения о собственной душе и потому якобы, чтобы составить о них правильное представление, нужен трезвый мужской ум.

Опула решительно настаивала, что наши так называемые «специалисты по женскому вопросу» с большей охотой — если бы могли — предпочли бы стать женщинами,

нежели просто специалистами. Что же касается Стриндберга и прочих пессимистов, которые усматривают низость женской природы в том, что женщины, видите ли, предпочитают получать удовольствие от собственной личной жизни, чем ломать себе голову над тем, кто такой Стриндберг и как сделать его счастливым, то они просто завидуют женщинам: как говорится, видит око, да зуб неймет. Да и вообще за всеми этими шарлатанскими теориями и хитро сплетенными построениями чувствуется, что где-то в глубине души у всех наших буллоков живет затаенное желание самим стать женщинами, «опуститься» до их уровня и бросить строительство вавилонских башен. Ведь я и сам признал, что женоподобных мужчин наши женщины любят больше, чем мужеподобных женщин — наши мужчины; что иное может это означать, как не стремление к единому человеческому типу, то есть к «падению», «погружению на дно», одним словом — к «феминизации». Еще короче — каждый земной человек тоскует по Капилларии, по океанским глубинам, которые до сих пор довелось познать только мне, Гулливеру, и где пребывает в счастье и радости лишь один-единственный пол, ницшеанский «сверхчеловек», на которого более похожы женщины, чем мужчины.

Этот смутный инстинкт не только не опровергается, но скорее подтверждается тем, что я рассказывал о содомской любви, которая случается и на Земле как одна из форм вырождения...

Святой Антоний в пустыне подвергся искушению женщинами и обратился с мольбой о помощи к Богу как к силе, равной по своему могуществу с женщиной, которую он тоже считал Богом, иначе бы не попросил такой могучей защиты, чувствуя, что сам, при всем своем человеческом величии, слаб для борьбы против существа, которое мы даже не хотим признать за человека. Разве не потому мы

воспринимаем как трагедию, когда мужчина погибает из-за женщины, и как комедию, когда женщина преследует мужчину, что остро ощущаем страстное стремление к совершенству?

Опула замолчала, и я, до той поры скептически, с опущенной головой, внимавший ее речи, мысленно перебирая контраргументы, внезапно взглянул на нее. Ее лицо было спокойным и холодным и вместе с тем таким ошеломляюще прекрасным, что слова застряли в горле. С колотящимся сердцем я некоторое время молча стоял перед ней, затем возбужденно, не в силах унять дрожь, в отчаянии воскликнул:

— Но что же, что тогда значат эта путаница в мыслях, это смутное желание, это неуловимое стремление, эта тоска по свободе, которые живут в сердцах несчастных? Объясни мне, я этого не понимаю, дай какой-нибудь знак, укажи мне путь, который ведет к истине!

Опула нагнулась и ловким, натренированным движением руки схватила одного вьюном вертящегося буллока и подняла его на уровень моих глаз. Я впервые увидел в такой близости это маленькое странное чудовище.

— Посмотри, — спокойно сказала она, и ее прозрачные бледно-желтые пальцы точно язычки пламени крепко обхватили пружинящее тельце животного. — Видишь этот запутанный, сложный механизм? Когда-то, как ты сам говорил и как о том свидетельствуют наши легенды, он не был самостоятельным, а служил лишь для определенных целей как часть одного целого, которое вы там, наверху, называете Человеком, а мы здесь, внизу, называем ойхами, то есть Женщинами. По своей форме он в общих чертах и сейчас еще напоминает о своем происхождении, если верить описанию, которое ты дал внешнему виду земных «мужчин». Этот орган, эта часть целого, постепенно отделился от нас и начал самостоятельно развиваться. При

этом он снабдил себя всем необходимым для Целого, а не для Части: глазами, ушами, ртом — взгляни, у него есть и плавники, и крылышки, — он хотел вобрать в себя все, полагая, что станет совершенным от того, что обретет подобие всех совершенств. Но мудрость жизни не дано переступить даже тому, кто хочет стать мудрее самой жизни; тот, кто хочет обогнать природу, не может идти иным путем, как только тем, который обусловлен самой природой, — он может обогнать ее, но лишь в своей области...

Не понимаешь? А между тем это очень просто. Из своих ушей, которыми тебя наградила природа, ты можешь сделать более совершенный орган слуха: ведь у вас есть телефоны, которые позволяют усилить слух в тысячи раз. Ты можешь сделать свои глаза более совершенными — ведь вы, если верить твоим словам, в телескопы рассматриваете Луну и, вооружившись особой линзой, видите даже инфузорию на глубине, где плавают киты. Вы способны усовершенствовать и свои нижние конечности, предназначенные для того, чтобы передвигать ваш организм с места на место, — с помощью железной дороги или самолета вы делаете их в тысячи раз более быстрыми. Таков естественный путь совершенствований, ведущий к успеху: воля, разум и предвидение на службе природы — это и есть святая триада, посредством которой природа превосходит самое себя, проявляясь в наиболее совершенной форме своего существования — в человеке. Нужно соблюсти только одно условие, прежде чем начать что-либо совершенствовать: понять, для чего тот или иной орган, чему он служит. Ибо тот, кто захочет видеть ухом, а слышать глазами, свернет с тропы и никогда не достигнет результата. Этот вот червяк, эта ничтожная частичка удивительных ойх восстала против Целого, возмнила, будто она может превзойти Целое, заменить Целое, обойтись без него.

— Вообрази, — продолжала Опула, — что в один прекрасный день ухо восстало против человека, отделилось от него, стало самостоятельным и начало новую жизнь. Но сколько бы оно ни тужилось, оно не способно ни на что иное, как только быть органом слуха — видеть оно никогда не сможет. Ухо только улещает себя и превращается в жалкое посмешище, в несчастного уродливого изгоя, не только не приобретая того, о чем мечтало, но и теряя все, что имело: оно глохнет в тщетных потугах видеть. И так произойдет с любой частью Целого, которая вознамерится присвоить себе иные функции, чем те, что отведены ей природой, будь то глаз, который вдруг захочет слышать, или ухо, которое замыслит зреть.

— Но разум... — начал было я.

— Вот именно, разум, — подхватила Опула и улыбнулась. — Как ты думаешь, в чем его предназначенье? Можешь ли ты дать точное определение? Я скажу тебе так: разум предназначен не для того, для чего вы там, наверху, его используете. Это сложный и чрезвычайно тонкий орган, который притаился и трепещет внутри, в костяной вазе черепа, невидимый даже в нас, ойхах; тысячами шелковистых нитей он проникает во все сочленения нашего тела, собирая воедино радость и боль и перераспределяя их. Разум стремится преобразовать в радость, наслаждение и счастье все, что он собирает извне, даже боль, если только не мешать его работе, не вынуждать его заниматься тем, к чему он не способен.

— А самосознание... мое «я»... этот могучий инстинкт познать истину... душа, наконец...

Опула снова улыбнулась.

— Тот, кто ищет что-то для своего «я», ищет не истину, а только собственную правду. Оставь свое «я» — ведь мы говорили об органе, который вы, земляне, называете мозгом, а этот орган не есть «я», он есть лишь часть его,

пусть сложнейшая и наиболее совершенная, но все-таки только часть. Как вы называете свою душу? «Я»? Нет, вы зовете ее «моя душа», правда же? Тем самым ты признаешь, что не ты олицетворяешь душу, а она лишь является частью тебя — точно так же, как если бы ты сказал «моя рука» или «моя нога». Оставь свое «я»! С помощью сложнейшего органа, который ты называешь душой, тебе не дано узнать, кто ты... Но к чему беспокоиться? Ведь пользуешься же ты без всякого зазрения совести своей рукой или ногой для целей, которым они служат, — так пользуйся и душой точно так же... Все отдай тому единственному существу, которое мы обозначаем радостным восклицанием «ойха», а вы на Земле несколько сухо зовете «Человек»...

— Человек... душа... тело... радость, горе... ойха, — лепетал я. — Но если в этом все и заключается... кому я должен верить... кто будет думать о Человечестве... какой орган... кто займется родом человеческим... моими соплеменниками... женщинами и мужчинами... вообще Человечеством, у которого есть призвание на Земле?.. Ты говорила только о Человеке... о его теле, душе, руках, ногах, о глазах и ушах... о пяти органах чувств, которые служат телу, человеку... Шестым органом чувств ты назвала душу... Но кто займется всем Человечеством, если душа будет занята лишь одним Человеком?

Опула улыбнулась.

— Ты забыл о седьмом чувстве?

— Любовь, — прошептал я, окончательно уничтоженный.

Опула вновь улыбнулась и высоко подняла пружинящего буллока.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Автор в минутном умопомрачении делает любовное признание Опуле. — Выясняется происхождение автора. — Его приговаривают к каторжным работам.

Вода вокруг нас переливалась лучами. Вдали сверкало ртутное озеро. Над головой плескались рыбы и какие-то адские чудовища: откуда-то вынырнула устрашающая голова с зелеными глазами, усами и щупальцами. Чуть поодаль чернела бесформенная масса — все, что осталось от затонувшего корабля. Из его трубы, подобно струе зеленого дыма, тянулась огромная морская змея. Останки корабля непрерывно шевелились — всю палубу, мачты и трюмы облепили буллки, которые усердно разбирали судно по частям, складывали разобранное в штабеля, жадно рыская повсюду, все проверяя и вынюхивая. Теперь я уже понял, что это именно буллки нашли меня, когда я, полуживой, без сознания, опустился на дно; это они обступили меня и спасли мне жизнь, приладив к ушам искусственные жабры, посредством которых под водой могло жить и единосущное млекопитающее. Этот тончайший аппарат — подводные искусственные легкие — был изобретен ими уже давно, примерно тогда же, когда у нас, наверху, появились самолеты и пароходы. Прежде чем я очнулся, буллки покинули меня и поспешили на новую работу.

Они спасли мне жизнь, они первые проявили ко мне участие, эти маленькие уродцы — труженики, искатели, добытчики, открыватели, воины, страдальцы, все усилия которых пронизаны одним-единственным смутным чаяни-

ем: пробиться к нам, на сушу, чтобы объединиться с нами в лихорадочных наших буднях.

Вдруг искусственные жабры на моих ушах начали гудеть, в голове зазвенело, я почувствовал, как грудь мне сдавило, и впервые подумал о той колоссальной толще вод, которая навалилась здесь на меня — бесшумно и бесконечно. Казалось, вот-вот я захлебнусь. Я раскинул руки, и из груди моей непроизвольно вырвался пронзительный, скорбный стон. И в этот момент я почувствовал, как кто-то приложил ладонь к моему рту.

Обернувшись, я увидел Опулу, глядевшую на меня с удивлением и сочувствием. В то же мгновение я замолчал. Она стояла прямо передо мной и через ее сильное и в то же время хрупкое тело, точно сквозь пелену тумана, проглядывали колышущиеся водоросли. Она была столь неопределимо прекрасна, что на какую-то долю минуты я почувствовал, будто перестаю существовать; мое сознание, мое «я», все то, что до сих пор я ощущал как непосредственное проявление своего бытия, рассеялось и словно бы исчезло, чтобы безраздельно уступить место этой единственной реальности. Она наклонилась надо мной, и я вдруг понял, что скорее соглашусь на то, чтобы она жила вечно, чем убедиться в том, что жив я сам. Если уж выбирать между нами, то важнее быть ей, чем мне.

Она закрыла своим телом зеленые воды над моей головой; меня охватили счастливый покой и блаженство, будто я гляжу на Солнце, я, дитя темной и грустной Земли, ее уроженец, плод и семя, взираю на Солнце, которое так давно не видел и которое, о боже, так хочу увидеть вновь!

И пока я все это переживал в себе, я потерял контроль над тем, что говорю, мои губы сами собой что-то лепетали, произнося горячо и страстно какие-то слова, не имевшие ничего общего с тем блаженным, примиренным состояни-

ем, в котором я находился. То, что я говорил, запинаясь, сумбурно и бессмысленно, видимо, звучало следующим образом:

— Ты не похожа ни на кого, кого я раньше видел, Опула, королева морских глубин. Ты ни на кого не похожа, но ты — та, о ком я всегда знал, что где-то там, на Земле, ты существуешь — в улыбке, во взгляде, в цветении лугов, в аромате весны, под ласковым звездным небом, в буре и в сиянии солнца. Я всегда знал, что ты, божество, где-то рядом, быть может, прячешься за моей спиной или промелькнешь на мгновение быстрее света. Я знал, что ты таишься от меня в траве или в деревьях и что я найду тебя, если только буду очень внимателен. И я напрягал зрение, как только мог, широко раскрывал глаза и всматривался, всматривался — порой мне чудилось, что я тебя нашел, нашел в самом себе и что ты — это я. Но теперь я не знаю, во что верить. Я ли это или ты? Быть может, я действительно ты. Дай поцеловать твои волосы, эту золотую россыпь солнечных лучей. Или не волосы, а глаза или лучше — колени. Но нет — для этого мне надо согнуться, а я уже знаю, что сгибаться запрещено. Скажи, что мне делать, скажи, кто я? Нет, нет, я не хочу пасть до тебя — ведь я знаю, что ты безразлична ко всему и тебя мало заботит звездное небо. Ты не думаешь о нем, но, может быть, потому, что ты сама звезда? Ведь тебе не надо тянуться к небу, как мне. Скажи, что мне делать? Кто ты, божество или чудовище? Ибо ты не похожа на меня — вот все, что я знаю. Я много страдал, боролся сам с собой и мне подобными. Но не сгибаться! Ты понимаешь меня, ведь правда? Я хотел бы целовать тебя — но нет, лучше не надо, я должен идти, у меня дела, я не могу здесь оставаться. У меня дела там, наверху, здесь у вас очень темно и слишком душно, а там меня ждут. Я люблю тебя. Я не имею ничего общего с этими уродцами, понимаешь? Неправда, что я

хочу того же, что они, что я такой же! О, я хорошо знаю, о чем ты думаешь про себя: красота, добро и истина — единое целое; не может быть добром и истиной то, что безобразно. Но кто лучше знает, что безобразно и что прекрасно, как не собственная душа? Зеркало, которое отражает твое лицо, может ли оно быть безобразным, может ли оно быть грубым и корявым, если показывает красоту? Нет, то, что отражает прекрасное, и само прекрасно. Ведь, правда, я подобен тебе? Нет, я не подобен тебе, ибо я хочу большего, чем ты, — я хочу тебя! Отдайся мне, прошу — скажи, что мне делать? Там, наверху, мерцает какой-то свет — я должен идти туда! Пойдешь со мной? Я уведу тебя отсюда, из этой глубины и мрака, и ты почувствуешь то же, что и я, ибо достойна того: я выведу тебя из этого склепа. Я должен, мне необходимо поделиться с тобой тем наслаждением, тем упоением, тем любовным угаром, который ты вселила в меня, — неужели ты не чувствуешь потребности в этом? Довольно, довольно — ты спокойна и можешь ждать, но я не могу больше ждать! О как ты зла и как добр я, как ты дурна, скверна и как я хорош и чист! Я тоже хочу стать дурным, я тоже хочу оскверниться — не могу ждать больше, не могу!..

Вот что я бормотал, это я хорошо помню; глупая, скверная муть выплескивалась из меня. Я вытер рот и взглянул на руку: на ней остался след грязи, мути и пены. Я не смел даже взглянуть на Опулу, уверенный, что она смеется надо мной.

Я был страшно возбужден и ждал, когда смогу справиться с этим приступом умопомешательства и приду в себя. Но в это мгновение я услышал испуганный возглас и невольно посмотрел в ее сторону.

Опула, широко раскрыв глаза, почти со страхом уставилась на меня и даже вытянула вперед свой пальчик.

Я в замешательстве оглядел себя и — о ужас! — понял причину ее удивления.

Что мне сказать тебе, читатель? Как завуалированное, чтобы не показаться неприличным, объяснить тебе улику, по которой Опула, пока я признавался ей в неземной любви, поняла, что я вовсе не ойха даже в том ухудшенном земном варианте, который сложился в ее представлении на основе моих же рассказов...

— Буллок... — произнесла она, не спуская с меня глаз. — Буллок... — повторила она и стала медленно пятиться.

Я хотел броситься за ней, но «буллок» встал преградой между нами, словно специально, угрожающе и бесповоротно, решил разделить нас и вынудить меня к остановке.

Я был разоблачен и больше не мог отрицать, что по существу принадлежу к той же презренной породе, которая для ойх пригодна в лучшем случае служить пищей или строить жилье. Я чувствовал, что окончательно пал в глазах Опулы и отныне никогда не буду удостоен ее расположения.

Я ощутил непреодолимое желание покинуть Капиллярию и, если можно, бежать отсюда. Но что-то не позволило мне сделать это...

Мне казалось, будто меня схватил за пояс какой-то гигантский буллок, о котором я раньше предполагал, что он находится в моей власти. Теперь же он показывал свое превосходство и силу и с откровенной наглостью диктовал, куда мне идти. Я мучительно пытался умерить свой пыл. Тщетно! Вода забурлила вокруг нас, я бежал, задыхаясь, бросался вплавь и вскачь, словно меня несла лошадь. Так мы кружили между башнями — туча буллоков мчалась за нами, напряженно вытянув головы, разрезая голубые воды, словно выпущенные стрелы с оперением.

Я понимал, что если хочу спастись, то должен бежать в другом направлении, я чувствовал, что мы несемся прямо в пропасть. За одним из поворотов показался фасад того здания, в воротах которого я впервые по прибытии в Капилларию увидел одну из ее обитательниц — ойху. Сейчас ворота были распахнуты настежь. Я ворвался в них, сметая все на своем пути. Несколько ойх шархнулись от меня в стороны... Многочисленные двери захлопывались передо мной, и я отскакивал от стен точно пропеллер, потерявший управление и натыкающийся на глухие двери повсюду, где за ними исчезали ойхи. Через несколько минут появилась Опула, испуганная и бледная, с кривой усмешкой на губах, — взбесившийся буллок бросился за ней и поднял меня к крыше, откуда, потеряв силы, я тяжело рухнул вниз. Я трепыхался подобно раненой птице, потом снова поднялся вверх, закружился в вихре все сильнее, сильнее, встал на голову, как гусеница, в ушах у меня зазвенело и загудело... и я не помню, что случилось потом, ибо свет померк в моих очах и я потерял сознание.

Когда я пришел в себя, у меня было такое чувство, будто я только сейчас попал в Капилларию и мне предстояло заново пережить необыкновенные приключения первого дня. Я лежал на дне, связанный, спеленутый той самой тончайшей золотой паутиной, которую выделяют ойхи и которая повсюду в их царстве развешана точно сказочные плащи.

Я попробовал поднять голову, но тщетно. Спустя минуту после того, как я подал первые признаки жизни, меня приподняли, не развязывая ни ног, ни рук, и усадили на низенький стул. Рядом со мной, на другом стуле сидела Опула с фатой на голове, перед нами стоял маленький столик, за которым заняла место одна важная ойха.

Как я понял, я присутствовал на заседании Верховного Трибунала Капиллари, и Опула представляла здесь обвинение, отчего и восседала рядом со мной. Не знаю почему, но последовавшая затем процедура своей церемонной торжественностью и вынесением мне приговора вызвала в моей памяти нечто давно пережитое. Я напряженно вспоминал, где я все это мог видеть, но только в тот момент вдруг догадался об этом, когда после объявления приговора меня выводили из зала, — даже в безразличном оцепенении, в котором я находился, меня невыносимо раздражала мелькнувшая в уме, неизвестно по какой ассоциации, догадка, что совершаемый надо мной серьезнейший судебный акт непонятным образом напоминает совсем другой обряд — обряд моей собственной свадьбы.

Суд был скорый. Опула выступила с обвинением, будто бы я ввел ее в заблуждение, с дьявольским искусством заставив поверить в то, что в стране, откуда я родом, я представляю род ойх. Когда же обнаружилось, что я на деле являюсь буллоком, о чем она смутно догадывалась и раньше благодаря той особой симпатии, с какой я отзывался об этих существах, она, Опула, сочла невозможным дальнейшее мое пребывание среди ойх, ибо я заражал атмосферу. В связи с этим она обращается к Трибуналу с просьбой вынести справедливый приговор.

Приговор был вынесен через несколько минут. В соответствии с особыми, но, безусловно, исключительно гуманными законами страны приговор носил альтернативный характер и позволял мне самому выбрать одну из двух мер наказания. Первой из них была смерть, вторая мало чем от нее отличалась. Речь шла о том, что я предпочту: быть ли, подобно обыкновенному буллоку, приготовленным и съеденным в день рождения Опулы или пожизненно выполнять каторжные работы, которые мне предстояло отбывать как трудоспособному буллоку среди других собра-

тьев, воздвигающих дворцы для ойх (разумеется, последняя мера наказания будет сопряжена с тем, что меня закуют в цепи, как то положено рабам). Мне показалось, как это ни странно, что, по мнению ойх, смертный приговор являлся более мягкой карой. Когда зачитывали первый вариант приговора, Опула повернулась ко мне и улыбнулась — ее улыбка была столь пленительной и робкой, что на мгновение я поддался искушению выбрать эту меру наказания; пусть я умру, промелькнула мысль, но этот очаровательный ротик все же укусит меня. Но здравый смысл все-таки одержал во мне верх, и я почтительно и униженно заявил Трибуналу, что предпочитаю пожизненные каторжные работы.

Меня проводили в темную камеру, развязали руки, а ноги еще ту же спеленали длинным шнуром. Это был последний раз, когда я видел ойх. Меня оставили одного и закрыли дверь. Всю ночь я провел в одиночестве, во мраке, среди морских пауков и крабов. Я проклинал судьбу и ту роковую минуту, когда после стольких преследовавших меня неудач вновь решил отправиться в путь; я дал зарок, если когда-нибудь освобожусь отсюда, не покидать больше берегов любимой отчизны. Затем, смертельно усталый и отчаявшийся, я заснул. Вероятно, во сне меня поместили в большой наглухо закрытый деревянный ящик и переправили к месту каторжных работ, ибо утром я проснулся уже на каторге. Я лежал на каком-то карнизе, а вокруг дружно трудились буллки. С любопытством и сочувствием они наблюдали за мной и поторапливали тоже начать работу.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Автор приступает к каторжным работам среди буллоков. — Описание Гальварго — башни, гражданином которой стал автор. — Знакомство с Кса-ра — государственным секретарем Гальварго. — Несколько уточнений о происхождении легенды об ойхах.

Рассказ о втором периоде моей жизни в Капилларии, который был хоть и не столь заманчивым и веселым, как первый, но зато значительно богаче событиями, происшедшими за время моего пребывания среди каторжан-буллоков с момента вынесения мне приговора до бегства из Капилларии, будет краток, и я лишь в строгом порядке перечислю те факты, которые по праву может ждать читатель от писателя-путешественника моего типа, чьей единственной заслугой ввиду отсутствия писательского и поэтического дара является достоверное и искреннее описание того, что он видел.

Именно поэтому я опускаю историю первых трех месяцев своего пребывания среди буллоков, ибо вполне достойно стать предметом самостоятельной книги описание того, как я привык к обществу маленьких уродцев, как проникся к ним уважением, как открыл в них существование души и многих иных добродетелей, как освоил их язык, их привычки, как сначала по принуждению, против собственной воли, а затем вполне сознательно и добровольно стал горячим энтузиастом и полезным членом их общества, как победил их недоверие и завоевал симпатию к себе, ибо поначалу они действительно относились ко мне с подозрением — наиболее осведомленные из них знали, что я попал

к ним из среды ойх, и, к величайшему моему удивлению, эта весть вызвала у них не уважение и зависть, на что я рассчитывал, а скорее насмешливое снисхождение. Читатель вправе претендовать на то, чтобы я не докучал ему жалобами на свою чувствительность, и поэтому только замечу, что сам виноват в том, что меня не сразу приняли всерьез: насильственная разлука с Опулой болезненно сказалась на моем душевном состоянии, я чувствовал себя таким побитым и несчастным, что в своей печали действительно первое время был невыносим.

Безнадежная любовь к Опуле заняла такое место в моей душе, превратила меня в такого эгоиста, что буллоки вполне естественно почувствовали ко мне антипатию, ибо сами они с головой ушли в решение важнейших общественно-политических проблем, воодушевленные идеей, требующей от личности полного самоотречения во имя интересов общества. С разрешения читателя я, пожалуй, начну свой рассказ именно с этого в надежде, что мои скромные наблюдения принесут известную пользу тем нашим выдающимся деятелям, которые решают ныне судьбы Европы и ведут ее к процветанию и лучшему будущему. Ради этого я охотно пожертвую тем верным и дешевым, но недостойным серьезного мужчины успехом, который мог бы снискать у скучающих дам и романтически настроенных студентиков, падких до медоточивых любовных излияний.

Башня, в которую меня сослали, была не из самых больших, но, несомненно, принадлежала к числу древнейших и наиболее развитых в Капилларии. Фундамент ее заложили много лет назад предки нынешних буллоков (продолжительность жизни буллоков значительно короче, чем ойх), которых привел в эти края знаменитый Колко — прародитель Кар-кар-ка, нынешнего правителя башни. Долгое время население башни мирно сосуществовало

с населением соседних башен, пока в конце прошлого века сильнейшее гончарго (так называют они катастрофу, сходную с нашими землетрясениями, но вызванную тем, что ойхи выкуривают буллоков и занимают их башни) не послужило поводом для серьезного конфликта, о последствиях которого я постараюсь вкратце рассказать в следующей, последней главе моей книги. Историки буллоков дают различные толкования явлению гончарго: часть из них склоняется к строго научному анализу, другие же усматривают в этом вмешательство таинственных сил. У каждой гипотезы были свои сторонники в разных башнях, и победители жестоко расправлялись с побежденными. К счастью, эти варварские времена давно миновали и население всех окрестных башен добилось неслыханного прогресса культуры и цивилизации. Получили развитие науки и искусства — первые в целях усовершенствования физических и моральных качеств буллоков с точки зрения пригодности их к строительным работам, вторые — в целях духовного воспитания. Выдающиеся исследователи занялись структурным анализом вида и рода буллоков; естествоиспытатели открыли законы, применение которых вело к значительным преобразованиям в жизни.

Первое время я работал подсобным рабочим на подноске штукатурки и не имел возможности наблюдать, как осуществляли свои функции высшие командные круги, планировавшие стройку и руководившие ею. Мой сравнительно высокий рост и большая физическая сила вскоре сделали меня незаменимым работником — за равное количество времени я выполнял работу, большую, чем это могли сделать восемьдесят—сто буллоков. Вскоре именно благодаря своему телосложению я получил известные привилегии, которые дали мне возможность познать общество буллоков, так сказать, в разрезе. Я обзавелся друзьями и приятелями, от которых и почерпнул следующие сведения.

В каждой из башен обитает одно племя буллоков, объединенных единой государственной властью. Во главе этих государств стоят короли, князья, президенты или просто администрация в зависимости от политических вкусов и традиций племени. Руководители заботятся о том, чтобы труд каждого члена был направлен к общей цели — возведению башни под кровлю. Они же блюдают порядок и защищают башню от внутренних и внешних врагов — в последнем испытывается особая нужда, ибо обитателям башен постоянно угрожает нашествие чужих буллоков. Был выработан специальный «Закон об охране башни», применение которого наряду с невероятной изобретательностью и технической сноровкой буллоков дало поистине фантастические результаты. Дабы читатель имел возможность составить хотя бы приблизительное представление об этом, я остановлюсь на кое-каких подробностях. То, что мы в Европе называем *Homo faber* — «человеком техники», получило у буллоков такое высокое развитие, о котором у нас могли мечтать в своих утопиях лишь самые смелые фантасты типа Герберта Уэллса и Бернарда Шоу. Техническая оснащенность, проявляющаяся у нас пока что лишь в области гидроэнергетики, у них распространилась на всю органическую жизнь. У нас лишь в последнее время, и то весьма робко, начинают экспериментировать над живой материей — у буллоков же проблема пересадки глаза, печени, даже мозга, не говоря уже о крыльях, плавниках и других органах, вплоть до операций на сердце и приживления рыбьих жабр, такое же обычное дело, как у нас пользование электричеством, телефоном, телеграфом, рентгеновским аппаратом, пароходом, самолетом и тому подобными, детскими с точки зрения буллоков игрушками современной техники.

Эту психологию необходимо понять, прежде чем мы углубимся в историю создания «Закона об охране башни».

С тех пор как этот закон введен в действие, общество буллоков в своем развитии претерпело существенные преобразования, которые можно охарактеризовать понятиями двойственности и раздвоения личности. Организм буллоков и орудия их труда эволюционировали таким образом, чтобы служить одновременно двум целям: строительству башни и ее защите, причем последнее понятие, разумеется, идентично понятию «нападение». Развитие каждого буллока происходило таким образом, что в одном лице он совмещал труженика и воина. Обычный мастерок, стоило повернуть его другой стороной, превращался в орудие разрушения, строительные кирпичи были сформованы таким образом, что легко могли быть начинены взрывчаткой и превращались в динамитные шашки или подрывные мины. Крепежные скобы, применявшиеся для соединения балок и брусьев в одной башне, служили шанцевым инструментом для штурма в другой башне. То, что в одной башне было орудием созидания, в другой использовалось для опустошения и уничтожения. Обыкновенная суповая ложка в мирное время оборачивалась шестизарядным пистолетом-автоматом в пору военных междоусобиц; аборигены одной башни лакомились тестом с маком, от которого буллоки соседних колоний дохли, точно крысы от мышьяка.

Раздвоилась функция и каждого сочленения сложного организма буллоков; их крылышки, предназначенные для коротких полетов-перескоков, имели на концах острые когти, отлично приспособленные к выщипыванию оперения у себе подобных; барабанная перепонка имела такую структуру, что в случае необходимости издавала страшный визг, от которого глохли враги; в глазном канале у буллоков вместо слезных мешочков развились особые железы, разбрызгивавшие яд: одна капля его ослепляла противника. Одна порода буллоков отрастила себе пальцы осо-

бой величины и остроты, так что они сами по себе могли служить колющим оружием; другие к двум верхним конечностям прибавили еще и третью, которая болталась у самого пупка и имела острозаточенный и прочный, как каленое железо, наконечник.

Необыкновенный расцвет «Закона» оказал свое воздействие и на духовную жизнь буллоков. Рефлекс сопряженности, принадлежности друг другу в еще большей степени, если только это было возможно, укреплял сознание угрозы распада этого единства; взаимоотношения индивидуума и общества достигли полной ясности. В массовых движениях, в которых мне довелось принять участие перед своим освобождением из Капилларии, я познакомился с выдающимся общественным и государственным деятелем Гальварго (моей временной родины), которого звали Кса-ра; несколько позднее, когда вспыхнула великая война, я сражался на его стороне. Так вот этот самый Кса-ра и посвятил меня во многие вопросы, которые представлялись мне весьма туманными; ему я обязан тем, что могу похвастаться некоторым знанием общественных законов буллоков и поделиться с читателем своими скромными соображениями относительно их общественной, политической и экономической жизни.

Однажды мы беседовали с Кса-ра о будущем буллоков. Я высказал недоумение по поводу культуры и цивилизации буллоков в том смысле, что перечислил все области науки и искусства, где буллоки достигли поистине неслыханных результатов. Просто не верилось, что буллоки в Гальварго и других местах могут одновременно заниматься столькими дисциплинами, причем в каждом отдельном случае с такой беззаветной отдачей, воодушевлением и серьезностью, которые диктуются общей целью, и, что самое удивительное, — цель эту отчетливо видят лишь отдельные выдающиеся умы, но инстинктивно чувствуют

буквально все члены общества, вплоть до последнего работяги.

Каких только областей наук я не насчитал: физика, химия, астрономия, астрология, геодезия, нумизматика, филателия, филантропия, филармония, хиромантия, криминалистика, физиология, психология, психиатрия, психофизиология, психогеодезия, физиопсихопатология, патофизиохимия, физиастрономизмафилохиропсихогееоспектрогоннометропудопатоантропология и другие! Все эти ветви науки, методологически развитые и согласованные со смежными отраслями знаний, проверенные на опыте и систематизированные, в своей совокупности и взаимозависимости создают то целое, на чем зиждется Башня. Ксара — один из удивительных умов, подлинный ученый-полигистор — мог говорить обо всем: он знал историю возникновения и развития каждой науки, ее нынешнее состояние, ее современные презумпции; с одинаковой легкостью и свободой он рассуждал о практических и теоретических проблемах, конкретно и абстрактно. Правда, его главным образом занимали общественные науки, на попррище которых он выступал не только толкователем и популяризатором банальных истин, но и в качестве сильной творческой личности: в нескольких своих бессмертных трудах, подытожив результаты научных открытий и осмыслив их с нравственно-этической точки зрения, он указал пути и методы, посредством которых, вернее используя которые, должно развиваться общество, чтобы, сочетая инстинкт и сознательную волю, закономерно прийти к высшей ступени познания.

Дойдя до этого места в нашей беседе, я обрадовался тому, что почувствовал некоторое душевное облегчение: на протяжении всего разговора я ощущал все усиливающееся возбуждение (вероятно, потому, что проснулся в то утро совершенно разбитый — мне опять снилась Опула).

Я спросил Кса-ра: как же, в свете изложенного, следует относиться к феномену гончарго, то есть к тому естественному явлению, которое буллоки отождествляют с землетрясением, превращающим башни в руины? Впервые за время пребывания в Гальварго мои уста произнесли слово «ойха». Упоминание этого слова явно вызвало у Кса-ра неприятную реакцию. Он заерзал, скривил рот в снисходительной усмешке, попытался отделаться шуткой и перевести разговор на другую тему, и вдруг его как бы прорвало и он разразился филиппикой в мой адрес, негодуя по поводу того, как может такой культурный и образованный человек, — а он считал меня именно таким, — засорять свою память подобными детскими игрушками! Что же касается гончарго конкретно, то изнывающие от безделья невежественные философы прошлых веков, когда общество буллоков, прозябавшее в темноте из-за отсутствия естественнонаучного мышления и методологических экспериментов, вынуждено было пробавляться беспочвенными мифами, легендами и прочей космологией, эти шарлатаны от философии пытались было обольстить беспочвенными сказками жаждущие познания невежественные массы. Одной из них и была легенда о гончарго — теософическое, или мистическое, учение о том, что будто бы некая высшая чудодейственная воля (или сознание) вершит судьбами башен; она же, эта мистическая сила, рождает на свет нас, буллоков, себе же на потребу и в наслаждение, она же в известный момент и сокрушает в прах наши рвущиеся ввысь планы и мечты. Он, Кса-ра, не будучи по своей природе скептиком или нигилистом, глубоко убежден в том, что подобные трансцендентальные и метафорические концепции наносят вред эволюционной теории и являются не чем иным, как тщетной и бесплодной игрой сознания буллоков, — сознания, которое имеет свои границы и не может позитивно осмыслить Необъяснимое.

Кроме того, история эволюционного учения все убедительнее показывает, что бедствие, называемое гончарго и опустошающее время от времени культуру буллоков, своими корнями уходит в болезнетворную материю, вызывающую известный атомный распад. Существование этих болезнетворных бактерий, или, как их еще называют, комет, доказано со всей очевидностью: астрономы предсказывают приближающееся гончарго по небосводу, на котором появляются светящиеся массы, или клубовые прозрачные облака, которые кружатся над башнями по не рассчитанным нашими математиками орбитам. Спектральный анализ позволил установить их состав. Выяснилось, что в нем нет иных элементов, кроме как входящих в организм обычного буллока. Вполне естественно, что наивные предки буллоков приняли эти таинственно мерцающие туманности, своим длинным золотистым шлейфом окутывающие небо и верхушки башен, за некую сверхъестественную высшую силу и назвали ее «ойха», пугаясь и молясь на нее. На самом же деле эти беспомощные и бесформенные массы являются не чем иным, как органической (или неорганической) праматерией, застывшей в своем зачаточном примитивном состоянии. Непросвещенный же земледelec или мечтательный невежда-поэт усматривали в них призраки, которые впоследствии окрестили словом «ойха», сохранив древнемифологическое выражение.

С некоторым замешательством внимал я рассуждениям выдающегося ученого и наконец робко напомнил ему о фресках и горельефах буллоковских художников, на которых ойхи изображены в весьма недвусмысленных позах. Ксара в ответ улыбнулся с родительским снисхождением и вновь заверил меня, что ойх в моем понимании не существует. Все эти рисунки и иллюстрации следует рассматривать как фетиш: позитивное объяснение этому, с одной

стороны, дает реакция на уже упомянутую болезнетворную материю, а с другой — массовый психоз, вызванный угрозой гончарго, рождающей галлюцинации и кошмары у тех, кто не привык к сильным возбудителям, каковыми становятся подобного рода естественные явления. Во время этого своеобразного психоза буллоки, и прежде всего наиболее чувствительные из них, а потому психически менее устойчивые и более восприимчивые к внешним раздражителям индивидуумы, и в первую очередь так называемые поэты и художники, ведут себя довольно типично. Они встают на цыпочки, вытягиваются, закатывают глаза, голова их разбухает, они бормочут бессвязные слова, словно их мучают кошмарные видения. Надо сказать, что вышеупомянутые возбудители обладают большой силой и стойкостью и преодолеть их воздействие может лишь весьма дисциплинированный и хорошо натренированный мозг — он, Кса-ра, однажды на себе испытал эту реакцию, когда наблюдал в телескоп за приближением облака, в просторечии называемого «ойхой»; он чуть ли не помешался в тот момент, начал вопить и стенать и, потеряв контроль над собой, произносил какие-то бессмысленные звуки, которые впоследствии, когда пришел в себя, попытался даже по памяти записать в звукоподражательной транскрипции; получилось нечто совершенно непонятное, вроде «о моя ми-лая, сла-адкая му-усинька, ду-сенька, пу-сенька, кошечка, ласочка, жизнь моя, свет мой, счастье мое, радость моя, пудь (или будь?) моей женой» и т. д.

Очевидно, заключил Кса-ра, эти произведения поэтов и художников, самовыражающих себя, пользуются сильным воздействием и даже гипнозом, а потому их следует воспринимать непременно критически, не теряя строгого самоконтроля, если мы хотим вовлечь и художественное творчество буллоков в тот процесс нашего общественного развития, который направлен на радикальное преобразо-

вание и реорганизацию всей нашей жизни. Необходимо удалить из этого творчества все, что рождено болезненной фантазией, иллюзиями, мечтами, галлюцинациями; следует редуцировать, упростить и максимально приблизить к действительности все крайнее, искаженное, патологическое, хаотическое, подсознательное, что рождается в нашей душе; следует извлечь из этой кучи сверкающей мишуры самую простую, всеобщую абстракцию, реальные факты, великие социальные истины, какими являются исторические закономерности, борьба за существование, борьба полов, закон о том, что выживает сильнейший, и, наконец, институт чистоты расы. Все это надо хранить как зеницу ока, дабы вовлечь все более широкие слои населения в великую работу, разъясняя всем, в том числе и ту-манностям, каковые именуются ойхами, что в один прекрасный момент каждый может стать полезным членом и опорой грядущего общества буллоков.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Внешнее положение Гальварго. — Война башен. — Краткое описание последовавших за войной гражданских волнений. — Автор попадает в плен, спасается и, используя феноменальное явление, покидает Капилларию и возвращается на родину.

Политическое положение Гальварго в последние годы становилось все более критическим. С момента вступления в действие «Закона об охране башни» империя Соединенных Башен стала с бешеной энергией вооружаться. Усугубило положение сильное гончарго, опустошившее три башни: обитатели их упрекали в разразившейся катастрофе Гальварго. Их, по словам Кса-ра, обвиняли в том, что они слишком бурно строились, накопили чрезмерно много взрывчатых материалов, а это вызвало затор воды в районе башни, привело к образованию встречных потоков и в конечном счете явилось причиной стихийного бедствия. Руководители империи форсировали темпы строительства, все настоятельнее требовали от населения активного участия в трудовой повинности, дабы и остальные башни не подверглись опустошению. Вместе с тем государственные мужи провозглашали политику разоружения, которую, если потребуется, необходимо проводить в жизнь даже насильно, действуя огнем и мечом.

Война между башнями по нашему земному летосчислению вспыхнула где-то в середине июня. Гальварго присоединилось к Левому Союзу, горячо и беззаветно отстаивая стратегию, согласно которой воспрепятствовать гончарго можно и нужно не снижением, а, наоборот, всяче-

ским усилением масштабов и темпов строительства. Высказывалось также предложение, чтобы две-три башни объединились под общим государственным флагом, а в случае их отказа предполагалось добиться этого силой. Когда начались военные действия, все выходы из башни были перекрыты, дабы воспрепятствовать побегу трусливой черни, которая таким способом могла уклониться от воинской повинности. Закрытием границ удалось достичь всеобщего воодушевления граждан, столь необходимого для успешного ведения войны; вся башня кипела страстями, все бросилось к единственной оставшейся открытой щели у самого карниза, где в образовавшейся свалке и развернулись первые сражения с солдатами соседних башен. Я попал на фронт в ранге обер-шпыняльца и вскоре отличился своей храбростью и снискал награды, будучи страстным приверженцем «Закона об охране башни», который обещал гражданам вечный мир и всеобщее благоденствие.

Ход военных действий и первый послевоенный мирный период я уже описывал в ряде своих книг, которые с тех пор выдержали несколько изданий. Здесь же я изложу лишь главные факты. На первых порах мы сражались с успехом, захватили в плен множество вражеских солдат, которых разместили в подвалах башни, где они получали свой рацион. К сожалению, мы тоже понесли большие потери, которые не смогли восполнить, и в конце декабря под напором превосходящих сил противника вынуждены были предпринять отступление и сдать свои позиции. Противник поджег нашу башню и вырезал оставленные нами отряды прикрытия. В объединенном штабе союзных с Гальварго башен также начались разногласия: поводом к разногласию в военно-стратегических вопросах и дипломатических отношениях явился неразрешимый языковой (точнее, грамматический) вопрос. Знаток дипломатического

языка во имя интересов всего буллоцкого мира потребовали изъять из лексикона (и соответственно из сознания буллоков) местоимение первого лица единственного числа и ввести в обиход вместо него местоимение множественного числа. Короче говоря, по их мнению, причиной всех постигших нас бед явилось то обстоятельство, что управление местоимением «я» невозможно согласовать с управлением местоимением «мы». Например, если кто-либо из дипломатов заявляет, что «мы готовы сражаться до последней капли крови и т. д.», то под словом «мы», естественно, подразумевается и «я», то есть сам говорящий, а это создает совершенно невыносимое и даже абсурдное положение. С другой стороны, если кто-либо из солдат на передовой скажет «я голодный» или «я подыхаю», то дипломатический корпус соседней вражеской башни тут же приходит к заключению, что у противника дела плохи, хотя об этом и речи быть не может. Подобный казус порождал бесчисленные недоразумения, разрешить которые, по мнению дипломатов, можно было лишь единственным путем — полным искоренением из языка слова и понятия «я».

Приверженцы подобного взгляда одержали победу, но в это время угроза нового гончарго придала всему движению иное направление. Еще в разгар войны внутри отдельных башен произошел раскол — часть воюющих хотела как можно скорее закончить войну, другая же часть выступала за ее продолжение. Обе враждебные партии вступили в борьбу друг с другом, сначала внутри собственных башен, а затем, поняв силу, которая кроется в совместных действиях населения разных башен, антивоенные партии нескольких башен объединились друг с другом и выступили против блока партий, поддерживавших войну и также вступивших в межбашенный союз друг с другом во имя продолжения братоубийственной бойни.

Эта война длилась очень долго, обе стороны захватили множество военнопленных. Наконец более мощная и боевитая умеренная антивоенная партия перешла в решительную атаку и навязала мир своим противникам.

После того как триумvirат Совета личных местоимений множественного числа одержал таким образом блестящую победу, он приступил к выполнению второй своей важнейшей задачи: к обеспечению послевоенного мирного урегулирования. И снова возникли серьезные разногласия: часть ученых-языковедов вслед за упразднением личного местоимения единственного числа потребовала ликвидации притяжательного местоимения первого лица, логически аргументируя это свое требование тем, что понятие «наше» совершенно исключает понятие «мое» и тем самым отличным образом разрешает все экономические проблемы. Тщетно доказывала Консервативная партия Полуторагодовых Младенцев, что слово «мое» появилось раньше, чем слово «я», и потому имеет более широкое значение. Волнение нарастало и с неудержимой силой охватывало обитателей нижних этажей. Выступили ученые, с выкладками в руках доказавшие, что буллоки нерационально расходуют свои силы на то, что строят башню поэтажно — ведь для достижения главной цели, каковой является выход на морскую поверхность, совершенно достаточно построить сразу самый верхний этаж, и к этой задаче следует приступить безотлагательно. Исходя из этого предлагалось перебросить буллоков, ведущих работы на нулевом цикле, сразу наверх, а верхних загнать вниз, разрушить все, что было раньше построено, и начать все сначала на уровне десятого этажа. В какой-то момент эта точка зрения победила, разрушение начали, противников его подвергли аресту, пока, наконец, кому-то не пришлось в голову, что все это ни к чему, ибо те буллоки, которым предстояло строить с десятого этажа, еще неопытны, а

строители фундамента в свою очередь не могут работать на высоте. Требовалось иное решение.

Вслед за этими волнениями был предложен ряд других проектов, экспериментов и опытов, направленных на отражение угрозы гончарго. В чередѣ следующих друг за другом мероприятий я принял активное участие, будучи пламенным патриотом Гальварго. Я вступил в общество, которое, пренебрегая пустой борьбой между личными и притязательными местоимениями, предлагало реформу глагола и определений времени. Это общество на какое-то время сумело завоевать симпатии своей программой рассматривать действие, свершающееся в настоящем времени, как действие, долженствующее свершиться в будущем. После того как ученые точно высчитали и установили, в какой одежде через две тысячи лет будут ходить буллоки, как они будут тогда жить, каковы будут их желанья и при каком государственном строе они будут жить, какие картины и стихи будут рисовать и писать, чем будут питаться, стало совершенно ясно, что мы можем сэкономить уйму времени, если введем результаты этих точных подсчетов в практику незамедлительно, сегодня же, и будем жить и действовать так, как если бы две тысячи лет уже прошло. К власти пришла партия социал-футуристов-любителей-тянуть-резину и в течение двух дней все шло как нельзя лучше и, возможно, продолжалось бы так и дальше, если бы внезапно начавшаяся эпидемия дизентерии со всеми ее неприятными последствиями не положила конец всему начинанию: от страшной вони попадали в обморок вожди и вынуждены были подать в отставку, заявив тем не менее, что их расчеты полностью подтвердились, если не считать того, что они позабыли о дизентерии, причиной которой были не они, а непредвиденная плохая погода, внезапно нагнавшая тучи на предвечернее ясное небо. Но было бы несправедливо винить в этом ученых, ибо нельзя

требовать, чтобы они прогнозировали погоду на час вперед, когда их голова занята тем, что будет через две тысячи лет!

После этого власть перешла в руки Объединения потребителей-прошлогоднего-снега, которое, памятуя о страшном опустошении, произведенном их предшественниками, Любителями-тянуть-резину, написали на своем знамени, что поскольку будущее не узнать, а прошлое вполне доступно, то лучше всего начать все снова с того места, на котором мы остановились тысяча шестьсот сорок лет назад. В соответствии с этим каждый должен занять подобающее ему место — все долги погашаются, но у тех, кто за прошедшие годы успел обогатиться, деньги будут изъяты и возвращены тому, кому они принадлежали тысяча шестьсот сорок лет назад. Таким образом, в результате частых смен властей каждый что-то приобрел, за исключением лишь тех, кто предпочитал жить так, чтобы, к примеру, день третьего июня считать действительно днем третьего июня, а не днем девятого сентября или восемнадцатого марта, — подобных чудаков наказывали и сажали в тюрьмы с одинаковым рвением как Любители-тянуть-резину, так и Потребители-прошлогоднего-снега.

Смене массовых движений, развитию общественных дисциплин и буллоковедения, а также эволюции башнеохранных идей сопутствовали другие блестящие теории. Нашлись индивидуумы, порвавшие с монотеистическим взглядом на жизнь и спускавшие шкуру друг с друга на том основании, что буллки не единосущные, а двойственные существа, состоящие отдельно из души и отдельно из тела, в результате чего существование буллока регулируется не только повседневной борьбой за жизнь и принципами селекции, но и такими регуляторами, как познание и предвидение. Другие снова подхватили идею чистоты расы, сделали из нее культ и доказывали, что ценность

буллока с точки зрения морали и разведения шелкопряда зависит от того, кем были его родители. Вопрос о его личных качествах, равно как и вообще вопрос о том, что он живет на свете, представляется совершенно несущественным, подобно тому как на скачках мы ставим на тех лошадей, в чью родословную верим. В соответствии с этим учением мыслителей и писателей выгнали из общества поганой метлой, их место заняла особая порода химиков, которая по составу крови определяла поведение и образ мышления индивидуумов, а также предсказывала, кем они станут, какого мировоззрения будут придерживаться, исходя из того, где они родились. Позже эта наука значительно продвинулась вперед и претерпела известные изменения: она занималась тем, что сталкивала буллоков друг с другом по самым различным поводам и признакам. Выяснилось, например, что рост волос, ушей, ногтей, а также цвет кожи, запах и консистенция буллоков находятся в непосредственной зависимости от их характера и намерений. Так разгорелась борьба сначала Долговязых с Коренастыми, затем Скуластых с Узколицами, Блондинов с Брюнетами, Толстых с Худыми. Впоследствии, к сожалению, в этой борьбе возникли кое-какие осложнения, вызванные чрезмерным развитием расистской науки и утонченным вкусом апостолов расизма.

Последняя большая война, в которой погибло, пропало без вести, потеряло дом и имущество неисчислимое множество буллоков, велась между Бородавконосителями-на носу и Впередоттопыренными-мочкоухими. В разгар боевых действий выяснилось, однако, что среди сражавшихся есть и такие, кто одновременно имеет бородавку на носу и мочки уха, оттопыренные вперед; вместе с тем встречаются и такие, кто не располагает ни тем, ни другим, а потому по этим признакам невозможно разделить все буллоцкое общество на две части, дабы оно эффективно боролось

за великое учение. И опять все пришлось начинать сначала — снова вернулись к наивному народному поверью о туманностях-ойхах и о бедствиях гончарго как каре Все-вышнего. В тот самый момент, когда — как вскоре убедится читатель — мне неожиданно пришлось покинуть Капилларию, борьба находилась именно на этой стадии, и я был тому свидетелем. Что случилось затем, я не знаю. Последнее, что я там увидел и что сохранилось в памяти, относится к большому подъему, который произошел в политической жизни Гальварго. Власть захватило правительство Гончарго; в пику неверящим оно основало Первый союз гончаргистов, открыло Потребительский институт и Биохимическую обувную фабрику, другими словами — правящую политическую партию Верящих в Гончарго, которая энергично принялась наводить порядок в башне. Я, как непосредственный участник прежних политических боев, не говоря уже о моем неизвестном происхождении, в первое время находился под подозрением у гончаргистов. Однако несколько позже, публично выступив с докладом на тему «Движение гончаргистов и международное влияние национальной идеи с особым учетом исковерканных на производстве ушей», я вновь оказался на высоте и принял сторону Кса-ра, который в тот период, не изменяя своим принципам, стал ведущей и авторитетнейшей фигурой у новой власти.

История моего освобождения из Капилларии вкратце такова.

Однажды ко мне явился уполномоченный правительства и предложил, как видному специалисту по вопросу ойх, возглавить делегацию, которую правительство Гальварго направляло в дальнюю башню, астрономы которой определили приближение угрозы гончарго и запросили от нас помощи для наведения возникших в связи с этим внутренних беспорядков. Я принял почетное поручение,

и на следующее утро мы двинулись в путь. Дорога была дальняя, мы шли несколько дней, преодолевая преграды на своем пути, пока, наконец, не достигли упомянутой башни. Мы уж совсем приготовились было в нее войти, но восставшие окружили нашу делегацию, разоружили мою свиту, и не успел я переступить порог, как меня схватили, арестовали, как изменника, и бросили в тюрьму. Однако предварительное заключение под следствием я не успел отбыть до конца, так как в это время разразилось гончарго, большинство буллоков погибло, остальные же спасались бегством. Ночью я потихоньку вышел из тюремной камеры, никем не охраняемой, и, смертельно усталый и измученный, отправился куда глаза глядят, опасаясь лишь того, как бы снова ненароком не попасть к каким-нибудь враждебно настроенным буллокам, которые, не зная о происшедшем, могут счесть меня просто за беглеца и не задумываясь пристрелят или, чего доброго, сорвут с ушей искусственные жабры и я тут же захлебнусь. Меня действительно заметил какой-то пост, но я сумел запутать следы и нашел убежище в коралловых зарослях.

На рассвете я почувствовал, как подо мной колеблется почва; в брезжущем свете я стал карабкаться куда-то вверх и с большим трудом достиг наконец вершины подводной горы, где, окончательно выбившись из сил, лег отдышаться. Я решил, что мне пришел конец, спасения больше нет, мне некуда идти и никто не придет мне на помощь — ойхи меня изгнали, буллоки разыскивают меня повсюду, не остается иного выхода, как только тихо умереть. Я тяжело вздохнул и вновь проклял свою судьбу и собственную глупость, пробудившую во мне, несмотря на бесчисленные горькие уроки, жажду к путешествиям. Я уж совсем было приготовился к тому, что доживаю последние минуты и никогда больше не увижу свое горячо любимое отечество, хотел даже сорвать с ушей дыхательные трубки,

чтобы положить конец страданиям, как вдруг умопомрачительный грохот, гул и толчок заставили меня очнуться. Подо мной сотрясалась гора и откуда-то рядом со мной забил горячий гейзер. Необъяснимая сила подбросила меня и повлекла за собой, переворачивая и вновь поднимая куда-то кверху, я задохнулся и потерял сознание...

Собственно говоря, со мной не произошло ничего сверхъестественного — лишь особые обстоятельства придали происшествию характер чрезвычайный. Только впоследствии понял я, что послужило причиной моего странного приключения. Гора, на вершину которой я взобрался, была одним из потухших подводных вулканов, а сила, повлекшая меня за собой, была не чем иным, как извержением проснувшегося великана. Лава, быстро остывающая в воде и принимающая вид пены, подняла меня и окатила с ног до головы, вернув моим членам живительные силы — этих сил оказалось достаточно, чтобы вынырнуть из воды. Придя в себя, я увидел, что нахожусь на узкой отмели, образованной вулканической породой посреди океана, волны которого мерно бились о ее края, откатывая отмель к северу. Жаберных дисков на моих ушах уже не было. Я огляделся, заморгал глазами и, зажмурившись, уставился на солнце, на купол голубого неба, который так давно не видел. День клонился к вечеру, небо было безоблачным, берег нигде не виднелся.

После суток тягостного ожидания я увидел приближающийся корабль — то был военный крейсер, который выручил меня из безвыходного положения. В первый день я не ощущал никаких признаков нервного потрясения, но вскоре оно дало о себе знать и заставило меня впоследствии со стыдом вспоминать про это временное умопомешательство. Только когда мы пристали к берегу и капитан корабля спросил меня о самочувствии и приключениях, которые мне пришлось пережить, я впервые заметил, что уже

не тот, кем был прежде. Меня тошнило при одном виде и запахе мужчин, на вопросы капитана я почему-то стал отвечать языком ойх, странные восклицания и междометия которого повергли беднягу в такое изумление, что он тут же попросил судового врача осмотреть меня и направить в какой-нибудь госпиталь. Но прежде чем тому случиться, я, как говорится, «дал хода» и сбежал в город. Я узнал, что нахожусь во Франции, неподалеку от Марселя; проверив содержимое своих карманов, я обнаружил несколько золотых монет, которые за все время моего длительного нахождения под водой не пострадали (в отличие от моего костюма и сапог). В магазине дамской конфекции я купил на эти деньги кофту и юбку, незаметно переоделся в них, напялил на голову дамский парик, подкрасил губы и густо намалевал свои щеки рисовой пудрой на манер того, как это делают марсельские красавицы. Сейчас я лишь смутно помню все эти и подобные глупости, которые совершил в течение последующих дней. То немного, что я еще запомнил, пришло мне в голову лишь несколько недель спустя, когда я немного пришел в себя в доме умалишенных в Дувре, куда меня поместили и где в часы просветления я рассказывал своему милому и все понимающему доктору Фоксу происхождение и историю своего галлюцинативного бреда. С грустью исповедовался я ему, что мой изнемогший от страданий и свихнувшийся от долгого пребывания среди буллоков мозг в первые дни на Земле принял какое-то странное и сумасшедшее решение, имевшее скорее характер мании или навязчивой идеи: ни в коем случае не быть больше мужчиной, а если уж это неизбежно, то вступить в отчаянную борьбу против угнетателя и тирана рода человеческого — женщины, причем вести эту борьбу ее же оружием: хитростью, безразличием и ложью, для чего я и решил переодеться в женское платье, принять внешность женщины и, затесавшись таким образом в жен-

скую среду, выведать их тайны, а затем, обладая ими, освободить из-под их власти бедное и невежественное племя моих товарищей по несчастью — буллоков.

Обо всех этих преподобных глупостях я рассказываю сейчас с чувством стыда, как и тогда, когда впервые поведал о них добрейшему доктору Фоксу. Отдохнув после тягот моего необычного путешествия, я провел еще несколько недель в больнице для душевнобольных, после чего дирекция, услышав мою здравую речь и основываясь на заключении врачей, признала меня вылечившимся. 4 марта 1922 года я покинул больницу и спустя несколько дней, а точнее — 10 марта, прибыл в свой родной город Редриф, где застал жену и детей в добром здравии.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Ал. Гершкович. Смеется ли Фридьеш Каринти? 5

Путешествие в Фа-ре-ми-до

Глава первая 29

Автор оглядывается на свои прежние путешествия.— В Европе вспыхивает мировая война; автор попадает хирургом на военный корабль «Бульверк».— Вблизи Эссекса немецкая подводная лодка торпедирует судно.— Автор и капитан корабля спасаются на гидроплане.— В критическую минуту удивительный летательный аппарат помогает автору в полной сохранности достичь берегов Фа-ре-ми-до.

Глава вторая 36

Аппарат, доставивший автора, оказывается сознательным существом.— Необычный разговор.— Человекоподобные деревья.— Замок.

Глава третья 44

Несколько слов к читателю.— Человек и машины.— Жители Фа-ре-ми-до.— Автора сравнивают с растением.

Глава четвертая 51

Взгляды на мир.— Автор начинает догадываться, среди каких существ он оказался.— Соль-ля-си.— Несколько слов о фабрике соль-ля-си.

Глава пятая 59

Автор учится языку соль-ля-си.— Небольшое отступление о моем физическом и внутреннем самочувствии.— Наука о познании.— Больные соль-ля-си.— Несколько слов о «музыке сфер».

Глава шестая	66
Автор узнает, как он очутился в Фа-ре-ми-до.— «До-си-ре», или болезнь мира.— Автор негодует от имени всего человечества.	
Глава седьмая	73
Земной шар и соль-ля-си.— Большой мир.— Тревога Ми-до-ре за жизнь на Земле.— Сознание и интуиция — понятия-близнецы.	
Глава восьмая	80
Автор приносит свои извинения за столь краткий отчет об этом необыкновенном путешествии.— Он поднимается на гору, где его поражает новое чудесное открытие.— Автор благополучно возвращается в свое отечество и застает семью в добром здравии.	

Капиллария

Глава первая	91
Автор оправдывает причину, по которой он, нарушив клятву, в шестой раз отправился в путь.— Он принимает должность судового врача на корабле «Куин».— Немцы атакуют корабль.— Автор в отчаянном положении готовится к смерти, но особые обстоятельства приводят его к вратам Капилларии.	
Глава вторая	98
Автор осознает, что чудесным образом остался в живых на дне океана.— Он пытается сориентироваться.— Странные сооружения.— Удивительная растительность.— Неизвестный вид животных.— Аборигены берут автора в плен.	
Глава третья	107
Описание уроженцев здешних мест.— Зодчество в Капилларии.— Автор представляется и пробует объяснить.— Первая трапеца.	

Глава четвертая	116
Равнодушие аборигенов.— Язык Капилларии.— Ойхи.— Несколько слов о безграничном патриотизме автора, а также о природной глупости.— Библия ойх.— Буллоки.	
Глава пятая	125
Особенности языка ойх.— Этимология слова «ойха».— Опула, королева ойх, выказывает автору свое особое расположение.— Несколько замечаний об угнетенном положении европейских женщин.	
Глава шестая	132
Автор пытается убедить королеву в высоком предназначении мужчин.— Наука и литература.— Несколько слов о постройках в Капилларии.— Одежда ойх.— Чем питаются ойхи? — Плантация буллоков.	
Глава седьмая	141
Земная любовь.— Владыка всего сущего.— Красота и борьба.— Борьба полов.— Женщина как предмет наслаждения.— Несколько замечаний Опулы и оторопь автора.— Истребление буллоков.— Объективное описание и характеристика некоторых типов буллоков.	
Глава восьмая	151
Автор рассуждает о браке вообще и в частности.— «Женщина в литературе и искусстве».— Автор узнает об истинных отношениях между ойхами и буллоками.— Несколько оригинальных выводов автора по данному вопросу...	
Глава девятая	163
Экскурсия в поселение буллоков.— Буллоки-художники.— Пространство и время.— Несколько своеобразных представлений ее величества о человеческом роде.— Тело и душа.— Шестое и седьмое чувства.	
Глава десятая	173
Автор в минутном умопомрачении делает любовное признание Опуле.— Выясняется происхождение автора.— Его приговаривают к каторжным работам.	

Глава одиннадцатая 181

Автор приступает к каторжным работам среди буллоков.— Описание Гальварго — башни, гражданином которой стал автор.— Знакомство с Кса-ра — государственным секретарем Гальварго.— Несколько уточнений о происхождении легенды об ойхах.

Глава двенадцатая 192

Внешнее положение Гальварго.— Война башен.— Краткое описание последовавших за войной гражданских волнений.— Автор попадает в плен, спасается и, используя феноменальное явление, покидает Капилларию и возвращается на родину.

**ФАНТАЗИИ
ФРИДЬЕША КАРИНТИ**

Художник Е. Бачурин
Художественный редактор *Ю. А. Максимов*
Технический редактор *М. П. Грибова*
Корректор *А. Ф. Рыбальченко*

Сдано в производство 17/1 1969 г. Подпи-
сано к печати 21/V 1969 г. Бумага № 2 70×
×108¹/₃₂ = 3,25 бум. л., 9,1 усл. печ. л. Уч.-
изд. л. 8,19. Изд. № 12/4882, Цена 41 коп.
Зак. 46.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МИР»
Москва, 1-й Рижский пер., 2

Ярославский полиграфкомбинат Главполиг-
рафпрома Комитета по печати при Совете Ми-
нистров СССР. Ярославль, ул. Свободы, 97

41 коп.

